

СЕРГЕЙ НИЛУС

СИЛА БОЖИЯ И
НЕМОЩЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Русская классика (Эксмо)

Сергей Нилус

**Сила Божия и
немоощь человеческая**

«Public Domain»

1908

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)-44

Нилус С. А.

Сила Божия и немощь человеческая / С. А. Нилус — «Public Domain», 1908 — (Русская классика (Эксмо))

ISBN 978-5-699-84563-7

«Сила Божия и немощь человеческая» – это жизнеописание игумена Феодосия (Попова), собранное по материалам монастырского архива, во времена расцвета Оптинского монастыря и великих старцев – преподобных Макария и Амвросия. В книгу также включены восемь историй: «Самоотверженная Игуменья», «Несчастный», «Из Мира Божественной Тайны», «Свидетельство Живой Веры», «Христос Воскресе!», «Вражья Сила», «Марко Фраческий», «Повесть о Пяточисленных Молитвах».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-699-84563-7

© Нилус С. А., 1908
© Public Domain, 1908

Содержание

Необходимое предисловие	6
Часть первая	8
Предисловие	8
Записки игумена Феодосия о своей жизни	11
I	11
II	12
III	14
IV	16
V	16
VI	18
VII	20
VIII	22
IX	23
X	24
XI	26
XII	27
XIII	28
XIV	30
XV	31
XVI	32
XVII	34
XVIII	35
XIX	36
XX	37
XXI	39
XXII	40
XXIII	43
XXIV	45
XXV	48
XXVI	49
XXVII	50
XXVIII	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Сергей Александрович Нилус

Сила Божия и немощь человеческая

© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2016

Необходимое предисловие Господи, благослови!

Выпуская в свет ряд очерков из жизни близких к нам по времени православных христиан, но таких – увы! – далеких по духу для большинства моих современников, я долгом своим почитаю, прежде всего, предварить моего боголюбивого читателя о том, что все написанное в них одна сущая правда, в которую лично я верю всем сердцем моим, всем умом, всем помышлением, и без этой веры моей, за которую готов постоять до последней минуты моей жизни, я не позволил бы себе требовать от читателя моего внимания к малому труду моему из страха грядущего Страшного суда Господня, на котором каждый христианин, а в их числе и моя христианская немощь, должен неизбежно или оправдаться от слов своих, или осудиться; и от этого страшного осуждения да избавит меня Господь!

Непрестанно сокрушаясь о всеобщем, казалось мне, оскудении веры в христианском мире, сердцем своим с великой горечью и болью отзываясь на установившееся в мировой христианской жизни зло братоненавидения и человеконенавистничества, видя, как христианский мир заливается кровью войн и усобиц, с ужасом обращая свой испуганный взгляд на богоотступничество цвета русского общества, призванного стоять во главе умственного и нравственного развития истерзанной и окровавленной Родины, этой Богом поставленной хранительницы православного духа, я, признаюсь, в законном ослеплении своем, был уверен, что угас уже истинный дух Православия в России, оскудел преподобный¹, не стало праведника, и, стало быть, неизбежна для нее, а с нею, по слову великих русских подвижников духа, и для всего богоотступнического мира участь библейских Содомы и Гоморры. Окружающая меня и всякого верующего христианина грозная действительность не давала ли мне права питать эти мысли?!..

Но в глубинах народного сердца, зримых одному Богу, еще недавно жила такая полнота и сила духа Христова, так близка была еще недавно к Богу живая вера русского человека, что не могло мое сердце мириться со страшной и братоубийственной мыслью: нет в России седми тысяч, которых соблюл бы Себе Господь и которые еще не подклонили выи своей Ваалу... И я искал их всем сердцем своим, всем помышлением моим, и, видит Бог, нашел, но не там. Где светит кровавый свет мира сего, не на высотах человеческого разума, а в тайниках сокровенных народного сердца, в среде тех немудрых мира, которых от века избрал Себе Бог, чтобы посрамить мудрых, чью немощь Он предопределил, чтобы посрамить сильных, чья слава и проповедь делом Христовой любви и самоотвержения заключены не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, данных им для того, чтобы, по слову апостола, вера наша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. И многих рабов Своих нелицемерных и истинных показал мне, ищущему, Господь, и во главе их под перо мое просится одно великое для Православной и самодержавной России имя, к которому с трепетной надеждой и верой обращены взоры всех истинно русских людей и от кого, после Бога, они ждут своего спасения. Но о живых праведниках, какое бы они место в мире ни занимали, от самого великого до самого низкого, – не леть ми и глаголати², и потому до времени сохраним имена их только в своей молитвенной памяти.

Но мир праведников, недавно отшедших ко Господу, – это уже достояние всех хотящих на их примере жати свое спасение; о них я и поведу здесь, в моих очерках, речь свою в радостной надежде, что одним, совершенным, она будет в утешение, а другим, ищущим Бога в истине,

¹ Пс. 11, 2.

² Нельзя мне и сказать.

а не «в препретельных земной мудрости словесах»³, она послужит в утверждение и в вечное спасение в небесных обителях Отца и Царя нашего Небесного.

Христос Господь, Бог наш, в Троице славимый, вчера, днесь и во веки Той же, и потому в ряде очерков, предлагаемых вниманию боголюбцев, я, начав жизнеописанием игумена Феодосия Попова, во всём всем нам подобострастного человека, заключаю свой малый труд подобным Марко Фраческим, о котором писано с таким вдохновением Четьи-Минееми, столь основательно позабытыми теми, кто почитает себя цветом современной образованности.

Главнейшая же цель труда моего – на достоверных показаниях и примерах близких нам по времени христиан утвердить в сердце моего читателя непреложное свидетельство апостольской истины, явленной в словах апостола Павла в его втором послании к коринфянам: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на Небесах, дом нерукотворенный вечный!» (2 Кор. 5, 1).

Труд мой ничтожен – он труд только писателя верного, но и за него молю и прошу того, кому он придется по сердцу, не оставить грешного моего имени поминовением молитвенным к Творцу всяческих.

Сергей Нилус

³ «В убедительных словах человеческой мудрости» (1 Кор. 2, 4).

Часть первая

Игумен Феодосий (Попов)

Предисловие

Так в Духе Святом утверждает святой апостол Павел, обращая свое вдохновенное слово к Церкви верующих всех стран, всех времен до скончания века. И слово это как слово Божие измениться не может; и как Церковь Божию, так и слово апостольское не одолеют и врата адовы, – этому верит христианская вечность, должны верить и мы, православные христиане, предназначенные к вечности, к вечному спасению, к вечному радованию, к вечному царствованию вместе с Царем славы, Христом Иисусом. Такова вера наша, и с этой верой, Богу милую, мы и отойдем в Царство света немерцающего и незаходимого.

Но как горькая действительность мало соответствует светлым христианским упованиям! Где сила Христова просвещения духа человеческого? Где подвижники духа? Где вера их? Где сила их, переставлявшая горы? Где явно действующая благодать Духа Святого? Где они, великие светильники веры, преподобные, эти Ангелы во плоти, нас спасающие?...

Тревожное сердце христианское, недоуменно и втайне озираясь на окружающую его действительность, с тревогой, близкой к отчаянию, готово спросить Господа своего: да есть ли теперь даже и спасающиеся? А злобный дух времени земным шепотом отступничества уже шепчет рабам своим: христианство дискредитировано, – долой христианство, долой Церковь, долой монашество, попов, долой все предрассудки и суеверия веры, тормозящие движение земной культуры, прогресса единого бога – человеческого разума! Царь мира – плоть, вечное блаженство – царство всеобщей сытости! Прочь призраки и мечтания слабых разумом, обольщенных и обольщаемых своекорыстными жрецами!..

Вот какие речи ведет к своим ученикам и последователям дух времени сего, князь мира сего, торжествуя уже близкую свою, конечную победу над ослабевшим в духе христианством. Так, по крайней мере, думает отступнический мир.

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32).

На все времена сказано было это слово нашим Спасителем и Богом: во все времена стадо Христово, верное своему Пастыре-начальнику в полноте духа и истины, было не велико, потому что всегда был тесен и прискорбен путь Креста Христова и широко отверсты врата, ведущие в погибель. В конце же времен, при внешнем и кратковременном торжестве зла, оно будет казаться еще меньше, но все-таки будет Церковью, которую не одолеть всей силе вражьей. И теперь, в наши лютые и многобедственные времена, еще живут и работают на Божией ниве незримые миру Божий трудники, те «седьм тысяч», которых соблюл Себе Господь и которые не подклонили выи своей Ваалу.

В одну из поездок моих в Оптину пустынь, за беседами с богомудрыми старцами, довелось мне услышать об одном из членов этого святого братства, игумене Феодосии, скончавшемся в 1903 году и последние годы своей жизни приютившемся на покой под тихую сень скита великой духом Оптинской обители. И все, что рассказывали мне об этом старце, до того было близко моему сердцу, так трогательны были еще живые воспоминания, что я невольно им заинтересовался. Богу угодно было раскрыть мне душу этого молитвенника и дать мне в руки такое сокровище, которому равного я еще не встречал в грешном своем общении со святыми подвижниками, работающими Господу в тиши современных нам православных монастырей.

Сокровище это – автобиографические заметки в Бозе почившего игумена, которые он составил незадолго до своей праведной кончины. Со времени учреждения православных монастырей не было примера, чтобы кто-либо из их насельников и подвижников оставил о себе воспоминания, касающиеся самой интимной стороны жизни монашеского духа, сохранил бы подобную историю своей души, стремящейся к Богу, своих падений и восстаний, и поведал бы о силе Божией, в его немощи совершавшейся и неуклонно руководившей им на пути к земному совершенствованию в благодати и истине и к Царству света невечернего.

Тем и драгоценны эти заметки, что они с необыкновенно правдивой ясностью указывают нам, что и в наше время, и в ослабевшем нашем христианском духе, возможен и всякому доступен с Божией помощью путь спасения и соединения с Господом Иисусом, Который все Тот же, что был от создания человека и останется Тем же во веки. С необычайной живостью ведется эта летопись сердца почившего игумена и раскрывается история земного испытания этой христианской души. С редкой правдивостью, с какой автобиограф не щадит и самого себя, повествуется им и о той мирской и монастырской обстановке, в которой трудилось его сердце в искании Бога и Его вечной правды: как живые, воскресают перед читателем события недавнего прошлого, тени тех средних русских людей, из которых одни из них работали над созданием храма Божьего в сердце Православной России, а другие по слабости своей и неведению – над его разрушением.

С редкой силой, с летописной простотой ведется удивительное повествование это о людях, о событиях, о душе человеческой и о силе Божией, над всей их немощью совершавшейся, и сам игумен восстает перед читателем во всей яркости своего духовного облика.

Уверенный в особой назидательности этих заметок почившего игумена как для верующего православного люда, так и для монашествующей современной братии, я разобрал их, связал их, по силе своего разумения, в одно целое, не убавив и не прибавив в них ничего своего, самоизмышленного, и даже, по возможности, сохранив слог и способ выражения мыслей самого автора. Покойный, не получив законченного образования, не мог создать цельного литературного произведения, но природное дарование его было не из заурядных, и оно дало в его заметках такой богатый и яркий, литературный, бытовой и психологический материал, что легок был мой труд, который я теперь предлагаю вниманию и назиданию моего дорогого читателя. В напутствии к биографии игумена Феодосия сообщу характерную черту прозорливости великого старца и наставника монашествующей братии Оптиной пустыни и всего православно-верующего мира, отца Амвросия Оптинского, под чьим духовным крылом воспитывался и отец Феодосий.

Жил игумен Феодосий уже на покое в скиту Оптиной пустыни и, несмотря уже на известную только одному Богу степень своей духовной высоты, нередко подвергался искушению от духа уныния, столь знакомого всем, кто внимал своей духовной жизни. В одно из таких искушений прибегает старец-игумен к старцу Амвросию и почти с отчаянием плачет к нему.

– Батюшка, спаси – погибаю! Свинья я, а не монах: сколько лет ношу мантию, и нет во мне ничего монашеского. Только и имени мне, что – свинья!

Улыбнулся старец своей кроткой улыбкой, положил свою руку на плечо склонившегося перед ним и плачущего игумена и сказал:

– Так и думай, так и думай о себе, отец игумен, до самой твоей смерти. А придет время: о нас с тобой, свиньях, еще и писать будут.

Это мне рассказывал один из сотаинников жизни покойного игумена, ныне здравствующий отшельник оптинский.

Лет двадцать прошло с этих замечательных слов блаженного старца, и суждено было им исполниться через мои грешные руки, руки того человека, который в то время сам так далек был не только от подвижников монашества, но и православным-то числился по одной метрике, выданной Московской Духовной Консисторией для поступления в гимназию.

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11, 33).

Записки игумена Феодосия о своей жизни

I

Относительно моей родословной вот что я не раз слышал в юности лично из уст моего родителя.

Пращур наш местожительство имел в селе Мелике, в двенадцати верстах от города Балашова Саратовской губернии. В то время город этот был не что иное, как деревня, принадлежащая помещику Б...у, а селение Мелик – несколько сотен мордовских семей язычников-идолопоклонников мордовцев. Мой пращур был их старший повелитель и начальник. Когда Петр I, желая скрыть свои благотворительные и мудрые планы от наблюдения кабинетов европейских держав, строил в Воронеже флот для взятия Азова, пращур наш, без всякого со стороны правительства к тому побуждения, возымел собственное желание принести, по силе возможности, дань своего верноподданнического чувства, и когда Государь нуждался в материальной помощи, он нарубил для него несколько сот вековых корабельных дубов, срубил их в плоты и собрал несколько тысяч пудов ржаной муки от всех подвластных ему племен. Все это он желал доставить в кулях на плотах по рекам Хопру и Вороне. Но, так как в то время не было в той стране хороших лоцманов и по рекам не было открыто судоходство, то план его не осуществился, и цель не была достигнута. Плоты, которые были спущены с грузом кулей муки во время полой воды, занесло в рукава заливов, а некоторые и вовсе потонули. Только несколько плотов догнали до Новохоперской крепости. С великим горем ускорил мой пращур на лошадях в Воронеж и предстал пред лицо Державного и объяснил ему о неудаче своего предприятия. Петр не оставил без внимания усердия мордвина и пожаловал ему в знак своей милости водяную мельницу на реке Хопре, близ села Репного, в вечное потомственное владение и несколько десятин лесу с землею, на что была выдана грамота, впоследствии записанная в церквах Репинской и Беломойской. Подаренный лес был окопан глубокой канавой, следы которой и я не раз видел, когда ездил с родителем моим на охоту с ружьем осенью за зайцами. Местность эта поднесь называется «Крутина», а прежде называлась «Лес Вагаева», по прежней нашей коренной фамилии. В бытность свою в Воронеже пращур мой не раз удостоивался беседовать со святителем Митрофаном и был им научен таинствам Христовой веры и был крещен в реке Воронеже, а по возвращении своем в село Мелик он убедил всех жителей этого села принять Святое Крещение. Впоследствии пращур мой, по усердию своему, выслал одной из Цариц отлитый по его заказу колокол, который был цел еще и во дни жизни моей бабки. Рассказывая мне об этом событии, бабка моя сказывала мне, что мельницей и лесом мы владели до царствования Екатерины II. Когда же эта великая Государыня повелела размежевать земли по принадлежности, то в это время прибыл к прадеду моему межевой и сказал ему секретно в его доме:

– Вагаев! Если ты не дашь мне пяти рублей, то я мельницу и лес твой отмежую в другие дачи, а тебе отрежу в другом месте, пониже.

Но у прадеда моего был на это свой особый взгляд: за что, де, я дам пять рублей?

Что может он мне сделать? Я имею царскую грамоту, никого не боюсь, денег не дам, а нужно будет, и до Царя дойду.

– Эй, Вагаев! Дай – тужить будешь, – говорил землемер, – синяя – не велики деньги.

– Ладно! – отвечал ему пращур, – мы сами знаем, где Царь живет.

И уперся на своем. Земля с мельницей была прирезана к другой даче, а ему было велено построить мельницу ниже. С мельницы семью пращура выгнали, и бабушка моя со своей матерью пошли по плотине, оглашая воздух раздирающими сердце воплями. Завелась тяжба. Пра-

дед со своей грамотой – в Петербург, и здесь, уже на опыте, хотя и поздно, узнал русскую народную пословицу: «до Бога высоко, а до Царя далеко». Истратив там порядочный куш экономией и трудами накопленных тысяч и не дождавшись чего-либо в свою пользу, он с грустью позднего раскаяния окончил в Петербурге свою жизнь, а все бывшее при нем имущество пропало бесследно. Событие это тяжело отразилось на благосостоянии его семьи. Впоследствии даже следы этой грустной истории были уничтожены господином Струковым, местным предводителем дворянства, который под видом расследования выпросил у моей бабушки крепостные документы и бросил их в печку. Мельница поступила в опись Палаты Государственных Имуществ и с того времени сдается с торгов от казны в арендное содержание.

Чтобы покончить со всей этой бесконечной тяжёлой историей, начальство, во избежание возобновления наследниками дела, велело и самую нашу фамилию из Вагаевых изменить в Поповых. Хотя и поныне ещё есть потомки Вагаевых, но родовая земля, лес и мельница давным-давно не принадлежат им... Такую роль в жизни нашего рода сыграла пятирублевая синяя ассигнация... Кажется, нельзя было бы этому и поверить, но, к несчастью, это правда из времен... Шемякина суда. Ещё, я помню, видел крепостные наши документы пятикопеечного достоинства.

Да к чему они? Прадед и землемер давно уже в сырой могиле превратились в тление до будущего Суда и вечной жизни, и те самые синие пятирублевые ассигнации заменены теперь государственными кредитными билетами.

Проходит образ мира сего.

Вот имена моих ближайших родоначальников:

Прадед моему отцу – Симеон, жена его – Соломония.

Дед – Иаков, жена его – Фекла.

Отец – Родион, жена его – Васса.

Родитель мой – Афанасий, мать моя – Агафия.

Братья мои: Феодор, скончался в 1846 году на двадцать первом году от рождения, Иоанн родился в 1835 году (я был восьми лет).

Сестры: Екатерина, Пелагия.

Всех же нас у родительницы было двадцать один человек, но те умирали во младенчестве – году, трех и пяти лет. Родительница моя умерла в 1851 году двадцать седьмого сентября и похоронена на общем кладбище (Новом) в городе Балашове на пятьдесят первом году от рождения своего. Родитель скончался в 1857 году седьмого августа на шестидесятом году, а погребен в селе, бывшем городе Добром, Лебедянского уезда Тамбовской губернии, близ Тихвинской церкви.

Сотвори им, Господи, вечную память!

Прошу всех православных с поклоном до земли и с росой сыновнего усердия на ресницах поминать их имена на проскомидии и в частных своих святых молитвах, и благий Господь в милости Своей да помянет всех нас. Аминь.

II

Говаривала мне моя бабушка: «Когда я была лет восьми или девяти, мы жили в селе Репном, от города Балашова в семи верстах. Я любила очень ходить в церковь и, как услышу звон колоколов, сзывающий народ к обедне, так сейчас и бегу в храм Божий. Бывало, и в будни я так-то, ради церковной службы бросала игры с подругами, с которыми бегала по зеленой траве, ловя бабочек, и как зазвонят в церкви, так оставляю все и бросаюсь в церковь. В церкви я становилась у самого амвона, против царских врат, и зорко следила за всеми действиями священника. Причина моих наблюдений за священником была та... что однажды, бывши в праздник с моими родителями у обедни, я видела над престолом, немного повыше головы священника,

прямо над Святой Чашей парящего Голубя, Который был бел, как снег, и неподвижно, едва заметно трепеща крыльями, держался в воздухе. И видела я это не раз, и не два, а несколько раз, о чем я передала своей подружке, бывало, и мы всегда с нею, как только услышим звон колокола, так и бежим изо всех сил, желая перегнать друг друга, и станем вместе у амвона, дожидаясь появления блестящего белого Голубка. И уже как же любили мы Его за то, что Он был такой беленький, такой-то хорошенький!

Но были дни, когда мы так и не могли дожидаться этого чуда, которое совершалось только во время служения старика-священника (отца, если я не ошибаюсь, священников, ныне служащих Алексия и Иоанна Росницких). Только в его служение мы и видели нашего Голубка. При другом священнике этого не бывало. Когда же мы объяснили это нашим родителям, а родители сказали священнику Росницкому, с тех пор мы с подругой более не видали чудного Голубочка...

Бабушка моя, как я ее помню, была очень богомольна: целые ночи без сна, стоя на коленках, она маливалась Богу и делала это она всегда в потемках, в спальне или в зале, где только не было людей. Когда зимой на полу стоять было холодно, бабушка становилась молиться на лежанку и, забывая, где она и что она, полагая поклоны, незаметно приближалась все ближе и ближе к краю лежанки и, наконец, падала на пол. И случалось это с ней не раз. Мы, как несмысленные дети, бывало, засмеемся, восклицая: «Ну, бабушка наша опять полетела!» А бабушка, как ни в чем не бывало, влезет опять на лежанку и опять станет на молитву. Иногда, сделав один земной поклон, она засыпала на поклоне и в таком положении храпела, что ее было слышно в других комнатах. Так продолжалось несколько минут. Скоро она опять пробуждалась и опять принималась молиться и класть земные поклоны. Были дни, когда к ней приходили ее родные сестры, тоже старушки, одна – из села Репного, а другая – городская. Те жили очень бедно, а родитель мой жил в довольстве, и бабушка моя по жизни своей была много счастливее их... Бабушка принимала своих сестер с особой лаской и гостеприимством и заставляла меня по вечерам читать акафист Спасителю и Божией Матери, а сами старушки становились все на колени, молясь Богу, и со слезами на глазах вслух произносили за мной: «Радуйся, Невесто Неневестная!» или «Иисусе Сыне Божий, помилуй нас!». После этого они меня заставляли читать, что я и делал с великим удовольствием, помянник, что в Псалтири, который начинается так: «Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твоя, от века сущия, ихже ради вочеловечился еси и распятие и смерть спасения ради право в Тя верующих претерпети изволил еси», и т. д. Все это сопровождалось земными поклонами. Затем шли моления за Царя и за всех, «иже во власти суть», и оканчивалось: «Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения отцем и бра-тиям, и сотвори им вечную память».

После этих молитв, если зимой бывало еще рано ужинать, заставляли они меня читать Киевский патерик, или четьи-минеи, или что-либо из Библии – Бытия, Иова, Товита, или про Иосифа. Я читал, а семейство наше все безмолвно слушало и нередко отирало набегавшие и катившиеся по щекам слезы.

Прискорбно нам тогда бывало, когда старший брат мой, Феодор, приходил из конторы и начинал читать литературные произведения светских писателей – Загоскина, Марлинского, Полевого, Пушкина и других, к чему он имел особенное пристрастие. Маменька моя любила его чтение, и он, бывало, с улыбкой на устах, скажет нам:

– Ну, отцы, убирайтесь-ка в другую комнату. А нет – так милости прошу к нашему шалашу послушать и нас, грешных.

И случалось, что мы сидели и слушали, и улыбались при чтении каких-нибудь смешных повестей; хохотали же, обыкновенно, всякий раз, как брат читал Гоголя. Бабушка послушает, послушает и закончит тем, что скажет:

– Бознать, что за галиматъя! И слушать-то нечего. То ли дело Священное-то Писание: там, как в зеркале, видишь свои немощи и поплачешь о своем окаянстве. А это что? Слова нет о вечности... Зубы только скалить! Эх, вы дураки, дураки!.. Не читай, Федюшка, эти балье⁴, читай более Священное Писание, оно более тебя умудрит и просветит ум твой, чем эти умники-то своими писаньями: время только тратят понапрасну. Умница писала, дураки читают, а полонные слушают, да зубы скалят... Полно вам! Идите-ка молиться Богу да ложиться спать, чем празднословить.

Часто бабушка, угощая меня чем-нибудь, говорила:

– Смотри, Федя, умру – поминай меня!

Я всегда ей обещался. И все наши с ней посиделки она всегда заканчивала словами:

– Смотри, не забудь, а то и помянуть-то некому будет: я на этих краснобаев-то уж и не надеюсь.

III

Однажды пришла моя бабушка зимой от утрени. Родитель мой еще не вставал.

Побранив его за леность, она сказала:

– Встань! Запиши для памяти...

– Чего, матушка? – спросил родитель.

– Запиши: озимые хлеба будут ныне летом плохие – лебеда уродится. Ранние пшеницы вовсе не родятся, средние будут хороши; гречи мороз убьет, а проса вовсе пропадут...

Родитель записал бабушкино предсказание, и время его в точности оправдало.

На другой год пришла она тоже от утрени зимой в какой-то праздник и сказала:

– Ну, Афанасий! На лето будет страшный голод – ничего не родится.

Упросила родителя, чтобы он дал денег на покупку ржи:

– Поверь мне, – сказала она, – увидишь, что я не лгу – голод, голод и голод-то будет страшный.

Родитель дал четыреста рублей ассигнациями, и она сама ездила в село Беково и купила там сто четвертей ржи, которую родитель всыпал в порожние винные бочки, вставив дны, и они стояли до весны рядами близ подвала. Когда же началось народное бедствие от голода, бабушка, с изволения родителя, взяла себе еще другую женщину из хлеба, и эта женщина только и знала, что пекла хлебы, а бабушка резала их на ломти и раздавала нищим, которые сотнями стояли у наших окон. Голод был ужасный. Что только не ел тогда бедный народ! Уже не говоря о лебеде, толкли древесный лист, кору, даже гнилушки, отчего многие пухли и умирали. Пуд ржаной муки доходил до полутора рублей серебром, что составляло по тогдашнему счету на ассигнации пять рублей двадцать пять копеек и дороже.

Бабушка моя лечивала и неизлечимые болезни и притом самыми простыми средствами: девятыслом, полынью, чернобылью и тому подобным. Однажды ей знакомый доктор сказал:

– Смотри, Семеновна, ты со своими лекарствами попадешь в острог: умрет какой-нибудь скоропостижно, и скажут, что ты его отравила.

– А ты не смейся! – отвечала ему бабушка, – смотри – сам как бы не приехал ко мне лечиться. Знаю я вас: вы все на словах-то лекаря, а на деле-то вас и нет.

Вскоре этот доктор впал в опасную болезнь и не миновал-таки он рук моей бабушки, которая его и вылечила. После выздоровления своего от бабушкиного лечения он дивился и говорил:

– Никуда мы со всей своей медициной не годимся против Семеновны.

А бабушка моя, слыша те речи, отвечала:

⁴ Балье – обман (бачий – обаятель, колдун, баламут).

– Не наука ваша виновата, а вы плохо ей учились и когда лечите, вы относите к себе. А вы бы сперва помолились Богу, да попросили бы Его помощи. А этого-то ведь у вас и в уме нет. Вы только тогда к Богу-то прибегаете, когда вас самих заберет черная немочь. А чуть прошло, ну и опять заболтаете такую дичь, что гнусно слушать... Вольнодумцы! Хоть бы уж сознавались себе, что, дескать, мы виноваты, а то – куда тебе! – хлебнут дури-то без меры, да и кричат, как безумные: Бога нет!.. Вот и слушай вас, ученых дураков!

Сходить бабушке, бывало, за десять или двадцать верст, посетить и навестить больного – это для нее ничего не значило, и дома никому о том не скажет. Выдавали бабушкины тайны иногда знакомые мужички: едут в город, встретят ее с палочкой, пешком идущую в их село, да и скажут о своей встрече моему родителю, а ее сыну. И вот вернется со своего похода бабушка, ее и спрашивают:

– Где ты, матушка, была?

Она всегда отвечала, что была по приглашению у кого-либо из богатых граждан, к которым она была вхожа. И когда мой родитель, бывало, смеясь за обедом, ей на это скажет:

– А кто же это с палочкой пешком шел там-то? – Бабушка улыбнется виноватой улыбкой и начинает оправдываться:

– Да, как вам сказать правду-то? Ведь вы еще браниться будете. А как не пойти-то! Человек-то бедный, старый, да и призреть-то за ним некому. Я его обмыла и лекарство составила, и попросила там таких-то, чтобы они Бога ради позаботились о нем.

За то и велика же, и сердечна была к ней признательность от черного народа. Денег же за лекарство она ни с кого никогда не брала, кроме того, что ей самой стоило лекарство, а это всегда было не дороже десяти, двадцати и много, много тридцати копеек. Любила моя бабушка принимать к себе и странников, которых она вводила в дом на ночлег иногда даже целыми толпами. Угощала их, чем Бог послал, как родных, от всей своей полноты душевной. Маменька моя, любившая чистоту полов до пристрастия, и когда даже резко выговаривала бабушке за ее любовь к странникам, особенно, когда они, бывало, осенней порой лаптями своими нанесут грязи и запачкают полы на кухне. Во избежание брани, бабушка, накормив странников и уложив их на отдых, сама подоткнет подол и вымоет пол в угоду невестке. Усердие ее к церковным службам было изумительное: она ни одной службы никогда, когда была дома, не пропускала, не обращая внимания ни на время года, ни на погоду. Такое усердие к Божьему храму я знал только в бабке отца Филарета, что в Площанской пустыни, и еще одну старушку, по фамилии Арбузова. Недаром все они с моей бабушкой трое были подругами с юности до самого гроба. Кроме Богом данного искусства врачевания, бабушка моя была и замечательной по своему времени акушеркой. – У кого я училась повивать, – говорила нам не раз бабушка, – старушка та жила около ста лет и очень была опытна в повивальном искусстве. Такой с ней раз был случай: пришлось повивать у дьячихи своего села, и, когда родился младенец мужского пола, она сказала его матери:

– Смотрите, не забудьте, что я вам скажу о будущем этого младенца. Я, конечно, умру и не дождусь, когда он достигнет возраста мужества, а вы мои слова запишите: если Богу будет угодно, и младенец останется жив, то он будет большой человек, к Царю будет близок и станет большим начальником.

– Почему ж ты это знаешь? – спросили ее родные и родители младенца.

– Да, как же мне не знать, когда он и во чреве-то сидел не как прочие...

Младенец этот стал впоследствии генералом Репнинским (читайте биографию Сперанского).

Особое было искусство у старушки. Понимают ли в нем что-нибудь современные акушеры?!..

И бабушка моя, тоже раз повивавши в одном доме, сказала, чтобы записали:

– Младенец этот богатым будет.

И время оправдало ее предсказание.

IV

Пришло, наконец, время и моей праведнице бабушке помирать. Я служил в это время в земле Войска Донского в Нижнечирской станице дистанционным на службе у В.Н. Рукавишникова при брате его Алексее, управлявшем его делами. Бабушка уже достигла глубокой старости. Это было в 1848 году, а во дни Пугачева бабушка была лет шестнадцати или семнадцати. Видел я сон: будто бабушка взяла меня за руку и повела внутрь какого-то великолепного, вновь отстроенного дома с роскошной внутренней отделкой и богатейшей мебелью, чудным балконом и крыльцом в дивно цветущий сад. В доме этом еще никто не жил. Глядя на всю эту роскошь, я удивился и спросил бабушку:

– Чей это, бабушка, дом, и для кого он выстроен?

Она мне ответила:

– Этот дом выстроила я для себя.

И с этими словами повела меня на крыльцо, а с крыльца – в сад. Удивляясь необыкновенно изящной отделке крыльца, я взглянул вверх и увидел, что одной доски в потолке нету, и до самой крыши зияет дыра. Удивился я этому и спросил:

– Бабушка! Отчего это одна доска не прибита? Все так прекрасно отделано, а это оставлено: ведь сильно безобразит. Не Бог ведь, чего одна-то доска стоит! Нужно бы прибить.

– Что делать, внучек, – ответила бабушка, – вот и весь дом выстроила, а одной доски и той не могу прибить. Это прошу тебя, постарайся ты доделать – я теперь уж не в силах и больше трудиться не могу.

С этими словами – «я теперь не могу, – прошу тебя, уж ты доделай» – я проснулся и долго размышлял, удивляясь и этому сну, и красоте виденного дома. Встал я с постели, зажег свечку и записал во всех подробностях свой сон, а с первой почтой написал своим родителям, прося их известить меня, что такое происходило у нас в доме ночью такого-то числа, и нет ли вообще каких новостей. Ответ был получен такой: «Этого числа, о котором ты пишешь, бабушка твоя ночью окончила свою земную жизнь и перешла к небесной вечности со всеми таинствами Святыя Апостольския Соборныя Церкви». Так перешла в небесные обители праведная душа моей старушки-бабушки.

V

Молитвами Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святого Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, святого славнаго Пророка и Предтечи Господня Крестителя Иоанна, святого великомученика Феодора Стратилата и прочих всех святых мучеников и мучениц, и Марии Египтянины, святых преподобных отец Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобнаго Сергия Радонежскаго и всех святых, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй и спаси нас. Аминь.

За молитвами преподобных отцов: игумена Оптинской пустыни отца архимандрита Моисея, старцев иеросхимонахов – отца Макария и отца Амвросия, и друга моего и брата моего, сотоварища от юности, иеросхимонаха Филарета (Площанской пустыни) и прочих отцов и братии, благослови, Господи, написать и поведать о жизни моей многогрешной от дней моего рождения и до поступления на покой из Перемышльскаго Свято-Троицкаго Лютикова монастыря в скит Оптиной пустыни, и спаси меня многогрешного.

Многие из числа отцов и братии Оптиной пустыни, и матерей женской Казанско-Амвросиевой пустыни, всечестная игуменья мать Евфросиния и другие близко мне знакомые лица неоднократно мне советовали и просили меня написать на память обо мне многогрешном кое-

что из воспоминаний моей жизни. И родные мои того же желали. И вот, в исполнение, кладу перед всеми земной поклон и со слезами прошу усердно простить меня за все и не забывать во святых своих молитвах, чтобы и мне многогрешному получить кончину христианскую и благоприятный ответ в день Судный. Аминь. Родина моя – Саратовской губернии город Балашов, а место рождения мое было того же уезда в селе Большой Карай. Случилось это в 1824 году в феврале месяце, а крещение мое было восьмого того месяца. Когда я родился, у меня уже был брат, нареченный Феодором. А почему и мне священником в первый день, повнегда родити жене отроча, дано было то же имя Феодор, это скажется ниже. Сам же я этого не знал до десятилетнего возраста. Родителя моего звали Афанасий Родионович Попов, а матери имя было – Агафия Андреевна, в девицах Склярова. У матери моей было три брата: Моисей, Фока и Петр Андреевичи Скляровы. Фамилия их вышла из Малороссии, а родина – Слобода Остров от города Балашова в шестидесяти верстах. Второй брат моей матери, Фока Андреевич, был очень умный человек и всю свою жизнь служил по питейной части комиссионером у откупщика Петра Ивановича Ковалева (или Коваленкова) и других его сотоварищей по откупу, Устинова и Образцова. Ковалев жил до самой смерти в городе Балашове, а с ним и мой дядя, Фока Андреевич. Третий брат, Петр, жил при Фоке Андреевиче и тоже служил по откупу дистанционным поверенным. Старший же, Моисей, жил в доме родителей своих в Слободе-Островах и был слободским всего уезда, по избранию всех обществ, земским головой.

И родитель мой почти что всю жизнь тоже был на службе по питейной части подвальным у того же откупщика Ковалева, и так как брат моей матери, Фока Андреевич, был комиссионером, а эта должность была влиятельной, то ему жилось хорошо, потому что управляющие откупками, из уважения к комиссионеру и сестре его, моей матери, были хлебосолами всему нашему семейству. О годах моего раннего младенчества вот что я слышал от моей матери и бабушки: после крещения моего я сорок дней лежал в люльке без крику и малейшего движения. Не подавал я голосу даже и тогда, когда меня вынимали из люльки и подносили к груди. Заплакал я в первый раз, когда, по прошествии сорока дней, меня снесли причастить в церковь и из церкви принесли домой. С тех пор я долго не переставал плакать, не давая никому покоя ни днем, ни ночью, так что вынуждены были мне нанять в няньки бедную сиротку девочку, чтобы она меня нянчила на дворе. Когда нянька, вынося меня гулять, подходила к церкви, я переставал плакать. Это было замечено, и, когда потом, я начинал, бывало, плакать, то матушка говорила няньке:

– Неси, неси его на паперть!

А церковь в селе Карае была близко от нашей квартиры. И так со мной делали всякий раз, как я начинал плакать: понесут на церковную паперть, – я плачу, а там немедленно успокаиваюсь и уже домой меня приносят спокойным надолго. Когда же я стал понимать, то сам стал указывать по направлению к церкви, давая этим знать, чтобы меня несли туда, особенно, когда я слышал благовест. Поэтому меня почасту приобщали Святых Христовых Тайн.

От 1830 по 1835 год родитель мой жил в селе Макаровке Балашовского уезда на должности подвального. Когда мне пошел восьмой год, мы с братом Феодором уже учились у местного сельского священника, отца Димитрия. Человек с тринадцать всех нас у него училось. Изучая Священную историю и Катехизис, я узнал, что есть Ангелы, которые охраняют нас, и бесы, которые ищут нашей гибели. Не знаю, как и почему, но мне пришла мысль испытать, правда ли это? И вот, сидя на крыльце нашей квартиры, когда родители мои отдыхали после обеда, задумал я эту мысль свою привести в исполнение: встал я с крыльца, пошел на задний двор и дорогой вслух сказал:

– Послушай, бес: если ты что-либо можешь сделать, то уверь меня в этом: принеси мне в амбар тонкую, хорошую веревку. Если ты это исполнишь, то я пойду в хлев, куда коров загоняют, и там удушусь на этой веревке... Вот-то удивятся товарищи мои, когда увидят меня повесившимся на перекладине!.. Ну, слышишь, бес, что я тебе говорю? Исполни ж мое желание!

На всем дворе в это время никого не было. День был жаркий, ясный. Бродили тучки по небосклону. Сказавши эти слова, я пошел к амбару, который был плотно затворен. По дороге к амбару, в голове моей мелькнула другая мысль: удушиться, подумал я, неприятно, а лучше брошусь-ка я в колодезь на заднем дворе. Колодезь этот был очень глубокий, и вода в нем была чистая и прехолодная. Принадлежал он соседу, протопопу, и из него брал воду всякий, кто бы то ни пожелал. Был он выкопан между двумя дворами у одной из стен... И вот, подойдя к амбару, я, растворивши дверь, к удивлению своему, увидел почти целый моток новой, тонкой бичевы. Взял я его в руки и, миновав коровник, пошел к колодцу и, нагнувшись, стал в него смотреть. Глубоко, глубоко поблескивала в нем его холодная вода, а в мыслях моих точно кто-то говорил: «Вот когда я туда брошусь и, конечно, утону, тогда товарищи мои да и многие другие будут удивляться, как это и почему я утонул в колодце?» Я невольно улыбнулся в ответ на свои мысли и сказал:

«Нет, бес, лучше уж я пойду удушусь. Вот тогда-то товарищи мои придут и будут удивляться, когда я буду висеть в петле!»

С этими словами, развязав найденный моток новой бичевы, я сделал петлю и завязал конец... Оставалось только всунуть голову в петлю, и жизнь моя была бы прекращена... Я оробел и вдруг громко и весело засмеялся, воскликнув:

«Лезь же ты сам, проклятый, а я тебя поддерну!»... И в это мгновение из туч на небе блеснула ослепительная молния, и раздался такой громовой удар, что я во всю свою жизнь подобного не слыхивал. Я сильно перепугался и изо всей силы бросился бежать из хлева к дому на крыльцо, а дождь после удара полил ливнем, как из ведра... Когда я вбежал на крыльцо, там стоял мой родитель; стояли с ним и другие, и все они удивлялись небывалому удару грома и необыкновенной яркости ослепительной молнии, повторяя: «Ну уж и удар! Такого мы еще и не слыхивали». Через несколько часов пришло известие, что этим ударом убита женщина в селе Потье, за рекой Хопром, верстах в трех от села Макарова.

Об этом своем поступке я никогда никому не рассказывал, но с того времени убедился, что есть злые духи, и стал внимательнее и прилежнее молиться Богу и моему Ангелу-хранителю.

VI

Верстах в трех от села Макарова было имение князя Григория Сергеевича Голицына. Княжеская усадьба была расположена на горе, и неподалеку, под горой, – винокурный завод князя. Князь очень доброжелательно относился к моему родителю, с которым ему приходилось иметь дело по винному откупу. Любил князь утром и вечером совершать прогулки верхом на лошади. И вот, однажды, подъехал он верхом к нашей квартире. Мы в это время всей семьей сидели за обедом; окно было открыто на улицу; день был ясный, и князь, подъехавши к окну, громко, с приветливой улыбкой сказал:

– Приятного аппетита всем вам желаю!

Конечно, родитель мой, завидевши князя, быстро выскочил из-за стола и выбежал к нему на улицу, а мы – дети и мамаша засуетились и тоже, побросавши обед, кинулись к дверям к нему навстречу. Побежали навстречу князю, правда, старший брат мой Феодор да сестра Екатерина (ныне схимонахиня в Шамордине), а мы, несколько оробев, стояли около обеденного стола. С ласковым приветом вошел князь к нам в дом и, видя наше замешательство, весело сказал:

– Прошу всех вас и детей сесть за стол, как сидели, тогда и я с вами сяду, а иначе выйду вон.

Желание его быстро было исполнено. Князю был подан стул, и с той же приветливой улыбкой, глядя на нас, он радушно к нам обратился со словами:

– Ну, вот и я с вами буду обедать!

Родитель мой сказал князю:

– Смею просить вас, ваше сиятельство, рюмкой водки?

– И прекрасно, и умно ты сделаешь, – согласился князь, – а, кстати, у меня и аппетит есть выпить рюмку, а мало – выпьем и по две.

Начали закусывать. Князь все посматривал на нас и вдруг спросил родителя:

– Это все дети твои?

– Наши, ваше сиятельство, – отвечал мой родитель.

– А что ж, учатся ли они у тебя?

– Учатся, ваше сиятельство, у приходского священника, отца Димитрия.

– А почему ж ты не обратился ко мне с просьбой, чтобы их отправить учиться в село Зубриловку, где учатся дети покойного моего брата? Дети-то его вдовы – две дочери уже почти невесты, а вот два сына – твоим детям одноклассники, и учат у них все немцы да французы... Да и дети-то всех ее дворовых обучаются особыми учителями. Вот бы и твоих туда отдать!

– Смею ли я просить о сем ваше сиятельство? Кто мы такие, чтобы дети наши учились с детьми ее сиятельства? Я и подумать-то о сем не смею, чтобы просить вас о помещении детей моих в их училище, – смиренно сказал мой родитель.

– Экой ты, братец, какой чудак! – улыбнулся князь, – ты этим ей и мне доставишь большое удовольствие; нам-то приятно будет, чтобы дети твои были образованнее и умнее других, которые учатся у дьячков и отставных солдат, и даже у сельского батюшки.

Низко кланялся мой родитель князю и усердно благодарил его за великую милость. Князь улыбался радушно и на изъявления благодарности отвечал:

– Нечего, брат, благодарить прежде времени. А вот завтра собери-ка их в путь-дорожку да и пришли их ко мне часу в десятом утра, а я их при письме моем отправлю в Зубриловку. Охлопочите только поместить их к кому-нибудь из зубриловских жителей.

Тут родитель мой и бабушка сказали:

– Да в Зубриловке и священник-то отец Иоанн Андреевич Росницкий – нам родственник.

– Вот и прекрасно, – сказал князь, – так присылай же твоих детей ко мне в дом, а я их при письме отправлю к своей свояченице.

Родитель мой усердно благодарил князя, а мать и бабушка чуть не в ноги ему кланялись. Пожав им всем руки, нам князь сказал: «Итак, в десять часов жду вас!» – и с этими словами от нас уехал.

Все мы были поражены и очарованы простотой его обращения. Целую ночь мать и бабушка не спали: пекли, жарили, варили, готовили пирожки с запеченными яйцами, кур, яйца всмятку; наложили все в мешок, тщательно завязали – нам в путь-дорогу. А село Зубриловка от села Макарова – не более верст двенадцати. Уложили весь наш багаж, а утром, часу в шестом, напоив нас чаем, помолившись Богу и благословив нас со слезами на глазах, расцеловали нас, прося вести себя благоприлично и давая нам всякие советы и указания, как нам жить в чужих людях. Родитель мой, смотря на их слезы, улыбался и подшучивал:

– Эх, далеко вы их отправляете! Смотрите-ка, шутка-дело – за двенадцать верст: как тут не плакать!.. Мало вы им, вижу, кур-то с яйцами и с пирожками насовали в мешок!

Смеялся он и над нами: «Пришла экая беда: теперь уж вы недельки две-три друг с другом не увидите».

А бабушка, утешая нас, на слова родителя говорила: «А я вас через недельку навещу – пешком приду к вам».

Тут подали лошадей и усадили нас, целуя беспрестанно. Наконец, осеня нас крестным знаменем, родитель сказал кучеру: «Ну, трогай! Счастливого вам путь! Вези их прямо к князю, к дому и, получив от князя письмо, вези их тогда в Зубриловку, к священнику отцу Иоанну. Передай вот ему мое письмо... Ну, с Богом!»

И мы тронулись в путь; а мамаша и бабушка долго все стояли, провожая нас глазами. Мы привстали на повозке, сняли картузы и все кланялись им, пока их стало не видно.

Часа через два приехали мы к дому князя. На крыльце нас встретил его камердинер и спросил нас:

– Вы – дети Афанасия Родионовича?... Идите по этой дорожке в сад, там и встретите князя.

Так мы и сделали и у садовой беседки встретили князя, который пошел к нам навстречу со словами:

– Молодцы, что так рано приехали! Вот вам букеты цветов и письмо к княгине. Когда приедете, передайте ей все это от меня. Отправляйтесь же с Богом. Счастливого вам пути желаю.

Мы простились и поехали к княгине. Она встретила нас ласково и приветливо, благодарила за букеты, приняла письмо и сказала, что просьба князя о нас ею с удовольствием будет исполнена. И священник нас встретил ласково и принял на житие в свою квартиру, где мы и прожили около двух лет, пока шло наше ученье в Зубриловской школе.

VII

Началось, наконец, и наше ученье в Зубриловской школе. Хотя и почиталась она князем Голицыным образцовой, но преподавание в ней было довольно-таки старозаветное: все уроки свои мы должны были учить наизусть, в долбежку – и Священную историю, и Катехизис, и арифметику. Кроме этих уроков, нам преподавали и чистописание... Княжата учились дома со своими французами и немцами, а в свободные часы приходили играть с нами. Один из них учил нас маршировать, как солдаты маршируют, варить кашу на огне и копать землянки; а другой обучал нас охотничьему искусству: как охотиться на зверей – волков, лисиц и зайцев; как трубить в рога и трубы, давая знать о каком-либо звере.

В этой игре я исполнял обязанности гончей, и дали мне кличку – «Галка». Я был картав и, когда они меня вместе с учителями спрашивали: «Фединька! Как тебя называли?» – громко им отвечал: «Гайка», и все тогда очень надо мной смеялись, говоря: «не гайка, а галка, – скажи: галка!» – Я не обижался, а смеялся вместе с ними, уверяя их, что так не могу сказать, потому что картав. И меня за это всегда ласкали. В школе нас учили от восьми часов утра до пяти пополудни, после чего мы шли домой обедать; а к другому дню нам задавали уроки. Уроки требовалось, как я уже говорил, отвечать наизусть. В свободное от уроков время нам позволялось играть в разные детские игры. Из этих игр любимыми нашими были игры «в казанки» или «шлюпки» и «в крысы», то есть бегать друг за другом и ловить. Не знаю уж сам, как и почему, но все ученики в случаях своих детских ссор или драки всегда обращались ко мне для разбора вины и умиротворения, и мне нередко случалось трепать до слез виновных, но они никогда на меня не сердились, а всегда оставались довольны моей справедливостью и беспристрастием. Особенно много недоразумений и ссор происходило во время игры «в казанки»: нарушались условия игры, били в кон произвольно, и старшие неправильно обыгрывали младших, и часто из этого выходила брань и драка. И вот в это время товарищи обращались ко мне, крича: «Что ж это такое, Федя, делается! Это и играть нельзя», – и требовали не позволять старшим бесчинничать или удалять их из числа играющих. И, когда я, бывало, стану им говорить, они поначалу начнут мне противоречить и браниться. А у меня от детства был вспыльчивый характер и, когда увижу, что неправильно обижают товарищей, да еще меня начнут бранить, говоря: «Да ты-то что за птица? Тебе какое дело?» – тут сердце мое вспыхнет, я хватался за их волосы, и очень, очень чувствительно для них бывало мое наказание. Дело всегда кончалось тем, что протестующие покорялись со слезами и криком: «Не будем, не будем! Федя, прости! Будет бить-то!...» А обиженные с торжеством приговаривали: «Прибавь, прибавь им еще, Федя, чтобы они помнили, как нужно играть!» – Под мою сердитую руку попадало и княжатам, и я

всем, не исключая их, с криком гнева говорил: «Что же это вы делаете? Что вы старше нас, так и обижаете несправедливо? Ступайте, жалуйтесь учителям – они лучше разберут, кто из нас прав и кто виноват!» И меня все ребятишки хвалили: «Так-де, вот им надо, пусть идут жаловаться, а мы тогда оправдаем тебя».

На эти детские игры и проказы смотрели часто гувернеры и учителя и, улыбаясь, хвалили меня за справедливость. Так продолжалось невозбранно довольно долго, пока не пришлось мне за свою справедливость сильно перетрусить. Как-то раз играли так-то вот мы, вдруг явился к нам посланный от княгини и потребовал, чтобы я к ней шел немедленно за ним в дом. Вот тут-то я и сробел. А щедрые на посулы товарищи мои, конечно, меня предали и стали мне вдогонку кричать:

– Вот тебе там достанется на орехи! Отдерут тебя на конюшне!

С большой робостью взошел я в зал дома, где княгиня с двумя своими дочерьми и мальчиками сыновьями сидели за столом. Там же сидели и учителя детей – француз и немец. Кругом их стола лежали громадные собаки, и им наливали в миски, и подавали каждой собаке ее кушанье, но лакать из мисок они только тогда принимались, когда княгиня им по-французски даст на то разрешение. Тогда только, замахав ласково хвостами, собаки и принимались за свою еду... В страхе и трепете, с крупной слезой на ресницах, подошел я к столу – прямо к княгине... К великому моему изумлению, не с гневом, а с ласкою обратилась она ко мне: «Не бойся, мальчик Феденька, тебе ничего не будет. Эти глупые только пугают тебя. Мы призвали тебя – расскажи мне, как и за что ты бьешь детей, с которыми ты учишься и играешь в казанки?»

Я робко, заикаясь и картавя, рассказал, что бью их за то, что, нарушая 'условное правило игры, сильные пользуются своей силой и неправильно обижают меньших товарищей... Тут княгиня как бы с гневом обратилась к своим детям и громко, отрывисто, по-французски сделала им, по-видимому, выговор или замечание... Дети сконфузились, покраснели, а учителя улыбались и качали головой...

Сделав своим детям выговор, княгиня ласково обратилась ко мне: «Не бойся, мальчик: ты прекрасно делаешь, что следишь за порядком вашей детской игры, и продолжай следить, чтобы старшие не обижали младших». И с этими словами подала мне два больших апельсина, сказав:

– Вот тебе от меня гостинец за твою справедливость! – Тут и дочери ее, и учителя начали хвалить меня и давать с десертного стола, кто – апельсин, кто – винограду, пряников – словом, наложили мне полные карманы гостинцев. Я поцеловал руку у княгини, и она велела меня проводить обратно.

Вместо слез, таким образом, я вынес из дома княгини торжество и радость. С радостью меня встретили и товарищи и говоря мне:

– Ай, да Федя, молодец! В какую честь попал!

Но мне моя честь не даром досталась: после княжеских подарков мне учителя стали задавать уроков вдвое больше, чем другим. Я это сразу заметил: шли мы из училища с товарищами, я и обратился к одному из них:

– Ну-ка, Коля, покажи мне, сколько тебе задали к завтраму?

И тут я увидел, что мой урок гораздо более. До слез стало мне тогда и грустно, и обидно. За что это мне? – подумалось мне, – и что мне теперь делать? Это мне уж и играть с товарищами не придется!.. Не пошел я тогда, с горя, домой, а пошел в сад. В саду стоял омет соломы, а у соседа были цесарки. Заметил я по своим наблюдениям, что цесарки эти, взлетая на насест, долго на насесте не успокаиваются и час, а иногда и более, кричат и цыкают, пока-то умолкнут и заснут... Придя в сад, разложил я на земле между кустами смородины и крыжовника все свои книги и, раскрыв их на тех страницах, где были отмечены карандашом мои уроки к завтрашнему дню, упал на колени и горько заплакал, подняв руки вверх, и со взором, потемневшим от слез, стал молиться Богородице: «Матерь Божия, взгляни, что со мной делают учи-

теля! Посмотри на мои книги – вот отметки карандашом, и все эти уроки я должен выучить к завтраму. Когда ж мне играть-то с товарищами? А не выучу, меня будут сечь розгами. Матерь Божия, Тебе все возможно, – умоляю Тебя, умножь мне память и помоги мне избавиться от наказания. Я не сейчас пойду играть с товарищами; буду твердить уроки под ометом до тех пор, пока цесарки не сядут на нашест и не перестанут кричать, а тогда я закрою свои книжки и пойду к товарищам, в надежде на Твое, Преподобная, милосердие. Слышишь, Матерь Божия? Выучу или не выучу я свои уроки, а уж как цесарки перестанут кричать, я уйду играть, а на утро Ты мне дай такую память, чтобы мне сказать свой урок без ошибки и чтобы не удалось учителям меня высечь. Помоги же мне, Преподобная Дево, Матерь Господа моего Иисуса Христа в честь и славу имени Твоего. Вверяю я себя Тебе и, как сказал, так, надеюсь на Тебя, и буду делать». Положил я три поклона Господу Иисусу Христу и Пречистой, закрыл по истечении назначенного срока свои книжки и ушел играть с товарищами. Они уже меня дожидались и, увидев, закричали:

– Да где ж ты был, Федя? Мы ждали тебя... Во что играть?... Ну, давайте в крысы... Наутро, к удивлению учителей, я отвечал все свои уроки без малейшей ошибки.

VIII

Старшему моему брату не легко давалось ученье, и он по ночам со свечкой засиживался над своими уроками, но при всем прилежании часто не мог ответить урока наизусть, за что и попадало ему от учителей. Сидел он однажды до полуночи, твердя свои уроки к следующему дню, а поутру не мог двух-трех строчек ответить перед учителем и священником, у которого мы жили.

Священник назвал его болваном и с угрозой сказал:

– Счастлив ты, что я иду служить Литургию, а то отпорол бы тебя розгами. А вот, постой, приду из церкви, и если ты у меня не выучишь урока, как следует, то я прикажу отпороть тебя, болван ты этакий!

Я сидел тут же, у другого стола и увидел, как у брата слезы закапали на стол, и стало мне жаль брата: за что же, – подумалось мне, – его сечь, когда он за уроками почти всю ночь напролет не спал? Пойду я в церковь, помолюсь за брата Царице Небесной, Она меня раз послушала. Бог даст, и на этот раз не оставит.

Церковь от школы была недалеко, – за княжеским садом: стоило только перелезть через невысокую ограду, и – там... Задумано – сделано! Я вышел из училища, попросившись выйти, а сам – через ограду да прямо в церковь. Боясь, чтобы меня не увидел священник, я отворил одну половину двери и осторожно заглянул в храм. В церкви только и было народу, что три старушки, заказавшие заупокойную обедню; священник и диакон были в алтаре, а дьячок в это время на клиросе пел: «Тебе поем. Тебе благословим. Тебе благодарим, Господи»...

Быстро проскользнул я в церковь – прямо на правую сторону придела, за колонну, и поглядел на иконостас... Взгляд мой упал на икону Божией Матери итальянской живописи с Предвечным Младенцем на руках. Как живые, Они смотрели на меня. Я пал перед святою иконою весь в слезах на колени и со всем усердием стал молиться Владычице:

– Матерь Божия Преподобная! Я пришел просить Тебя за брата моего, Феодора: его священник обещал за леность высечь розгами, а он всю ночь не спал, твердя уроки. Матерь Божия, сотвори милость – смягчи сердце учителя, отвори от брата моего наказание. Ведь я верую, что ты родила Господа Иисуса Христа, Который за нас и наше спасение умер на Кресте и затем воскрес. Я знаю все заповеди, знаю «Верую» с начала до конца: смягчи же сердце учителя – мне жаль брата. Если уж нужно его посечь, то пусть лучше меня за него накажут: очень мне жаль брата. Дай, Матушка, брату моему побольше памяти, чтобы он так же учился, как и прочие умные ученики. Матерь Божия! Если Ты мою молитву услышишь, я всегда буду

прибегать к Тебе, а – нет, ни о чем Тебя просить не буду. А я этого не хочу: я хочу всегда прибегать к Тебе с молитвой!

С этими словами я поклонился в землю перед иконой, поцеловал Богородицыны ножки и опять повторил:

– Помоги, если можешь; а я знаю, что Ты можешь! А то я не буду уже больше просить Тебя ни о чем.

В это время запели «Достойно есть, яко воистину...», и я выбежал из храма. В школе старшие ученики меня спросили, куда я бегал и где так долго был; я отговорился расстройством желудка. Вскоре пришел из церкви и священник отец Иоанн. Я ждал с трепетом, что будет он говорить брату. Отец Иоанн подошел к нему и ласково-ласково ему сказал:

– Вот тебе в благословение Богоматери святая просфора!

Благословил ея брата и отдал со словами:

– Тебе эта просфора от Божией Матери в благословение и улучшение твоего учения. Молись Ей: Она тебе поможет, и ты будешь учиться хорошо!

Можно себе представить, как поразили меня эти слова! Я заплакал и, выбежав стремглав из класса, пал ниц на землю и благодарил молитвенными слезами Матерь Божию за Ее великую и явную милость. С тех пор брат стал гораздо лучше учиться и даже обогнал многих своих товарищей.

IX

Этот случай, так меня поразивший, произошел уже на второй год нашего с братом учения в Зубриловской школе. Вскоре после этого княгиня с детьми стала собираться в Петербург, дети должны были перед отъездом ехать к князю, чтобы проститься. Княгиня велела им взять и нас с братом, чтобы повидаться с родителями, и с ними вместе вернуться в Зубриловку. Когда мы доехали до села Макарова, княжеские дети не прямо поехали к дому князя, а подъехали к квартире наших родителей и вместе с нами вошли в дом. Радостно удивились родители наши такой неожиданности. Подали чай, и за чаем княжата, улыбаясь, сказали нашей матери и бабушке:

– А знаете ли, для чего мы к вам приехали? Мама прислала предложить вам, не согласитесь ли вы своего младшего сына, Фединьку, отпустить с нами в Петербург, а там и за границу, во Францию, учиться вместе с нами?

Это предложение подтвердили и приехавшие с нами княжеские учителя... И, Боже мой, что тут поднялось! Как перепугались мать моя и бабушка! Чуть не со слезами отвечали они на это лестное предложение:

– Нет, нет, нет! Куда нам равняться с княжескими детьми!.. Да и к чему нам французский и немецкий языки! Выучили Священную историю и молитвы, да немножко арифметики – более нам ничего и не нужно. Вот, детям княгини – другое дело, а нам – всяк сверчок знай свой шесток!

Учителя и княжата стали уверять, что расходов никаких не будет, что княгиня все берет на свой счет, что я вернусь к ним человеком ученым, помощником им и обеспеченным на всю жизнь, но мать и бабушка и слышать ничего не хотели, заплакали и объявили наотрез, что своего меньшего они ни за границу, ни в Петербург ни за что не отпустят.

– Будем молиться за княгиню и детей ее, – говорили они, – чтобы Господь умножил им Свои милости и лета жизни; пусть княгиня нам не вменит этого в вину – нам первое утешение видеть детей наших при нас: каждому свое дитя дорого.

Так велик был испуг и горе их, что княжата и не рады были, что разговор этот затеяли и, напившись наскоро чаю и заверив их, что княгиня на них не будет сердиться, они быстро собрались в обратный путь, а нам с братом велели садиться в экипаж вместе с ними. Любезно

распростились они с матерью и бабушкой, мы с ними расцеловались и к вечеру уже были в Зубриловке. Дня через три княгиня с детьми выехала в Петербург. Перед отъездом мы получили от княжат в подарок их картузы и сюртучки, а впоследствии из Петербурга они мне прислали чудесный перочинный ножичек с пилочкой, вилочкой и иглой, а также пряников.

С тех пор я во всю свою жизнь больше их не видел.

Х

В 1835 году мы выехали из села Макарова в город Балашов, где мой родитель выстроил два дома: один – каменный, а второй – из вековых дубов, бывший господский дом, который родитель мой купил на снос. В этом доме поселился жить брат моей матери и наш благодетель, Фока Андреевич Скляр; здесь он и скончался, как добрый христианин, напутствованный Святыми Тайнами. В 1836 году родитель мой, оставивший было службу, вновь поступил на место подвального в городе Аткарск. Жизнь моя в течение 1835 года в Балашове осталась мне на всю жизнь памятной, потому что от брата своего двоюродного я научился такому греху, о котором стыдно и глаголати. Великою милостью Божиею я был спасен от этого греха, и вот каким образом. Уже по приезде в Аткарск, как-то раз, поутру рано, родители мои, бабушка и крестная мать пили чай, а мы – все дети и другие товарищи, у нас ночевавшие, спали на полу в соседней комнате. Дверь была открыта; я в это время проснулся и понеживался, и вдруг слышу разговор между родителями и крестною моею, Любовью Ивановною, и в разговоре этом часто повторяют мое имя. Я прислушался и слышу:

– Да, что-то из него будет? – говорила моя мать, – помните, что священник-то сказал?... Да, да! Ведь когда он родился, у нас уже был сын Феодор, а священник, давая молитву новорожденному, подошел ко мне, – я лежала тогда на кровати, задернутой пологом, – да и говорит: «Желаю вам здравия; какое имя угодно вам дать новорожденному?» – «Дайте, говорю, – ему имя Николай». Стал молиться священник и, когда нужно было дать имя, он вдруг остановился и умолк. Долго он молчал и, наконец, произнес имя – Феодор. А я ему сказала, что у меня уже есть сын Феодор. Когда он окончил молитву, я ему это помянула, а он мне ответил: «Ничего, при крещении исправим»... Пришел день крестин, и вот что мне рассказывала Федина крестная: взял священник в руки ребенка, чтобы погрузить в купель, и только хотел произнести: «Крещается раб Божий, младенец...» – да на слове этом запнулся и молчит. Минут пять, показалось ей, он молчал так-то, и все молчали. Слышим – погрузил ребенка с именем Феодор. Очень мы были этим недовольны. Когда кончилось таинство, крестная, – а потом в доме и мы – приступили к священнику с выговором, а он нам на это ответил: «Я вам как священник скажу – ведь вы видели, что я стоял долго, не погружая младенца в купель. Я желал дать ему имя Николай, но вот, Бог свидетель, что я в ту минуту забыл все имена, кроме имени Феодор, и другого, при всем старании, произнести не мог – точно у меня кто связал язык. И хочу вам сказать, меня, быть может, и в живых не будет, а вы припомните тогда: будет младенец этот, когда вырастет, монахом».

Я лежал и, затаив дыхание, слушал этот разговор... Что такое – монах? – размышлял я, – никогда такого имени не слышал я... Тем разговор обо мне и закончился, но врезался глубоко мне в память. Впоследствии я стал расспрашивать бабушку о том, что такое монах и какие вообще бывают монахи, и бабушка мне все разъяснила и рассказала о Киево-Печерских святых отцах и о нетленных их мощах, почивающих в Киевских пещерах. Ярко запечатлелся этот бабушкин рассказ в моей памяти, и я просил бабушку, чтобы она, когда будет в Киеве, купила мне книгу о киевских угодниках, что бабушка вскоре и исполнила, сходявши в Киев на богомолье. Помню я вечера с бабушкой по возвращении ее из Киева: зазовет она, бывало, меня к себе в комнату и заставляет читать ей вслух Патерик и, слушая, поясняет мне жития преподобных. С тех вечеров зародилось у меня горячее желание, рано или поздно, побывать

в Киево-Печерской лавре и все там самому увидеть, – о чем пишут и о чем говорит бабушка. Тем временем пристрастие мое к греховному навыку, приобретенному от двоюродного брата, все усиливалось. И вот приснился мне страшный сон: вижу я, что будто умер, и мое тело лежит бездыханным; а сам я, будто, своей душою стою рядом, гляжу на свой труп и удивляюсь... И вдруг увидел я двух Ангелов – один как бы мой хранитель, и другой – как бы его начальник. Этот старший Ангел и говорит моему хранителю: «Что же ты стоишь?»

И Ангел мой как будто поднял меня на воздух и уже хотел лететь со мною кверху, на небо, но старший Ангел остановил его и сказал:

– Куда ты хочешь лететь с ним? Ему не туда дорога, вон – его место! – и Ангел указал своим перстом вниз.

И когда я взглянул на указанное старшим Ангелом место, то увидел море огня пламенеющего, и в нем кишмя кишели многие тысячи людей. Такое это было страшное видение, что я и высказать не могу. Старший Ангел, указывая рукой, опять сказал: «Вон ему место!»

И когда я взглянул в том направлении, то увидел огонь синий и зеленый, и в этот-то огонь и бросил меня мой Ангел-хранитель... Боже мой! Сейчас содрогаюсь при этом воспоминании – такой, ни с чем несравнимый ужас и жгучую боль ощутил я тогда. А в огонь этот я был погружен всем телом и с головою. И я кричал от нестерпимой боли, а Ангел мой стоял и смотрел сверху на мое мучение. Тогда старший Ангел сказал ему: – Чего же ты еще ждешь? – И Ангел, который меня бросил в огонь, отвечал ему:

– Да жаль мне его – он обещает более не грешить!

Старший Ангел возразил:

– Да он не исполнит своего обещания...

Господи! Как же я кричал и плакал, и уверял, что больше грешить не буду!

– Ради Бога, – кричал я, – выньте меня из этого пламени!

Тут мой Ангел-хранитель взял меня за руку и вытащил. И когда меня вытащили из адского пламени, тогда старший Ангел спросил моего хранителя:

– А что, ты мне ручаешься за него?

В ответ мой хранитель спросил меня:

– Обещаешься ли не делать того греха?

– Не буду, не буду! – с неописуемым страхом вопил я.

Тогда мой Ангел-хранитель повернул меня к себе спиной и так меня толкнул своей рукой в затылок, что я, проснувшись, дня три ощущал боль в затылке.

Крик мой во сне был такой отчаянный, что разбудил всех домашних. Потом меня спрашивали, что со мной было, но я ответил, что ничего не помню. С той поры я отстал совершенно от постыдного моего греха; стал ходить с бабушкой каждый день к обедне, отказался есть мясное и обедал с бабушкой, потому что она скоромное не ела и готовила себе отдельно постную пишу. Родители меня бранили, находя, что я выдумки выдумываю, прихотничаю, обвиняли в этом и бабушку. А бабушка не была в этом повинна: это я уж очень своего сна испугался. Каждый вечер в ее комнате читал я бабушке Патерик, а она мне рассказывала о мошах, о церквах, о подвигах, и я тайно стал по ночам молиться Богу, спать на дровах... Заметила это как-то сестра моя, Екатерина, и рассказала матери и брату. Узнал от них о моих ночных подвигах и мой отец и начал выговаривать бабушке:

– Это вы, матушка, виноваты: сведете малого-то с ума... Вот отпороть тебя хорошенько, – сказал он, обращаясь ко мне, – и запретить тебе с бабушкой обедать!

Но тут уж маменька за меня заступилась и уговорила отца: пусть-де себе подвижничают с бабушкой – ничего, мол, тут дурного нет. Будет постарше, и сам не согласится всегда есть один хлеб да пить одну воду: пусть их себе молятся...

Так и оставили нас с бабушкой в покое.

А во мне все настойчивее зрела мысль: как бы это мне побывать в Киеве.

XI

Из жизни нашей в городе Аткарске врезался особенно мне в память еще один эпизод, оставивший неизгладимый след на всю мою жизнь. Эпизод этот связан с посещением Аткарска преосвященным Иаковом, епископом Саратовским, впоследствии архиепископом Нижегородским. Объезжая епархию, он посетил Аткарск и служил в соборе Литургию. Муж он был высокоучительный и проповеди свои говорил народу всегда без тетради, экспромтом, отчего и не оставил по себе следа в церковно-проповеднической литературе. Народ любил преосвященного и с великим благоговением внимал его поучениям. Изумительна была простота и сердечность его речи, и так она шла близко к народному сердцу, так глубоко в него проникала, что даже я, в то время одиннадцатилетний мальчик, запечатлел в своей памяти во всех подробностях одну из таких его бесед, которую и хочу теперь записать в своих воспоминаниях.

Народ считал преосвященного святым. И вот святой этот муж, совершив Литургию в Аткарском соборе, вышел в своей святительской мантии на амвон, оглядел добрым и пронизательным взглядом предстоящих, заметил в их среде детей, в том числе и меня, и сказал:

– Дети! Подойдите ко мне поближе!..

Нас выступило вперед несколько человек, и впереди всех – я. Я стал прямо перед лицом владыки, и он, как бы ко мне обращая свое слово, начал говорить так:

– Хочу я, дети, побеседовать с вами о молитве. Знаете ли, как надо себя приучать к молитве?... Нужно сперва понемногу молиться, но как можно чаще. Молитва, как искра: она с течением времени может превратиться в великий пламень, но, чтобы воспламенить эту искру, нужно неослабное усердие, нужно время и нужно уменье. Возьмем, например, два угля: один – огненный, а другой – простой, холодный. Попробуйте воспламенить этот холодный огнем другого – что для этого нужно сделать? Надо приложить холодный уголь к огненному. Но и приложив их так-то, вы холодного угля не воспламените, если не будете понемногу и постоянно дуть на огненный уголь. Если будете дуть на него слишком сильно, то из него будут вылетать искры, но холодный уголь не воспламенится, и труд ваш будет напрасен. А вот если будете дуть на огненный уголь постоянно и умеренно, то скоро весь ваш холодный, приложенный к нему уголь превратите в огонь. Тогда будут пламенеть не только оба ваши угля, но, если вы их и отдалите друг от друга на известное расстояние, загорится и все, что вы между ними поставите или положите, и тогда может разлиться целое море пламени.

Но чтоб зажечь в печке сырые дрова или воспламенить и раздуть влажный уголь, сколько для этого нужно и времени, и труда, и терпения, а главное, постоянства!.. И вот говорю вам, мои деточки, – молитва есть огонь, и еще говорю, что она – уголь горящий, а сердца наши – холодные угли. Поэтому и надо нам каждый день молиться – это все то же, что приложить холодный уголь своего сердца к огненному углю молитвы и раздувать его понемногу. Поверьте мне, дети, что если вы слушаетесь меня и будете каждый день молиться понемногу, но постоянно, то сердца ваши воспламенятся любовью огня Божественного, но только смотрите не молитесь порывами – не выдувайте искр из огненного угля молитвы: помните, что за порывом вслед ходит лень, и искрами не воспламените угля своего сердца. Начинайте так: сперва по три поклончика, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», – и поклон, – «Пресвятая Владычице наша Богородице, спаси мя грешного» – и тоже – поклон; «Вси святии, молитесь о мне грешном», – поклон, – да и будет. А завтра опять непременно повторяйте. И так продолжайте изо дня в день и впредь; и заметите тогда, дети, что поначалу лень вас будет одолевать, как тяжесть какая, но если вы будете постоянно класть по три поклона, то после увидите, что вместо трех вас потянет класть и более и тогда сама молитва будет от нас требовать умножения поклонов. Это уже будет означать, что уголь сердца стал возгораться силою веры и воспла-

меняться любовью к Богу и что постоянство ваше стало приносить вам и плоды, от которых умножается жажда молитвы...

Испытайте-ка, деточки, мои слова на деле и увидите, что это так и бывает, как я вам говорю. Прибегайте к Богу, как к родимой матери: Он благ и всеведущ, Он любит нас, как мать любит своих детей. Если вы будете просить Его, Он непременно услышит вас и исполнит вашу просьбу, если только она не противна Его святой воле. Он Сам сказал: «Просите, и дастся вам», – и поэтому смело прибегайте к Нему во всех ваших нуждах: идешь в училище, – преклони колени, но так, чтобы тебя никто не видел, кроме Бога, и попроси, чтобы Он озарил твой ум и память, и ты увидишь, что скорее и лучше будешь знать уроки, чем другие или сам ты прежде, когда не обращался за этим к Богу. Так поступайте всегда, перед всяким вашим делом. Молитесь, деточки, молитесь чаще; прощайте обижающим вас, и Бог мира будет всегда с вами. Каждый вечер и день кайся перед Господом, в чем согрешил, и моли Его благость, и в чем согрешил, уже старайся не делать более, и, если как-либо и опять согрешишь, опять тотчас кайся и говори: «Господи, я согрешил – помилуй меня и помози мне исправиться». И Он простит тебя и поможет твоему исправлению. Молитесь, дети, чаще Богу, и Он спасет вас.

Поучение это так врезалось в мою память, что вот уже сколько лет прошло, а я его записываю, как по книге читаю. Как кончил владыка свое поучение, я принял его благословение, и с тех пор, с вечера того памятного дня, начал ежедневно класть три поклона: Господу Иисусу, Божией Матери и всем святым.

ХП

Винный откуп Ковалева кончился, и родитель мой вновь возвратился в дом свой в город Балашов и вскоре взял внаем на двенадцать лет водяную мельницу на реке Терсе Аткарского уезда. Там же он снял и рыбную ловлю на реке Терсе и на прилежащих к ней озерах от села Сосновки до села Матышова, где было большое рыбное озеро, в котором, случалось, в одну тоню неводом ловили лещей и судаков пудов по триста. Рыбу продавали в слободе Елани во время базарных дней. В этой же слободе была большая хлебная торговля, и в дни базарные здесь покупали и продавали тысячи четвертей пшеницы «кубанки». Купцы туда наезжали из города Ельца. Вскоре родитель меня взял из дому к себе на мельницу, а мать наша со всеми семейными осталась при доме в Балашове. Мне было скучно жить на мельнице – я тосковал по дому и думал день и ночь, как бы мне сбежать от этой жизни и вернуться к матери в Балашов, где у меня был закадычный друг и брат по духу, уже раз бегавший от родителей в Киев к угодникам. Этот приятель мой, по пути в лавру, заходил в Оптину пустынь, был на благословении у старца иеросхимонаха Леонида в его келье, и старец, благословляя его, сказал при народе:

– Вот этот наш!

А товарищу его, купеческому сыну из Балашова сказал другое:

– Ну, этот не наш, а купец! – и еще что-то такое, не особенно лестное.

Впоследствии товарищ этот сменил трех жен и скоропостижно скончался, а еще при жизни его меня и друга моего, когда мы с ним ходили в Оптину, старец Макарий предупредил, чтобы мы с ним не имели дружбы, не были с ним откровенны и даже вовсе бы прервали общение. Сказано нам это было еще до его женитьбы. Мысль о Киеве и о моем паломничестве в лавру неотступно преследовала меня, а тут еще привязалась ко мне скука: больно уж меня не удовлетворяла жизнь на мельнице – вдали от семейных, с отцом, который был целыми днями занят. Чтобы как-нибудь рассеяться, я ходил с удочками ловить рыбу на реку Терс. Часто уже бывало удачно, и мне попадались на удочку крупные окуни. Это меня утешало. Ходил я и на охоту с ружьем: по лугам Терса было много озер и из них одно большое – с песчаными островками и с большим камышом, где дичь выводила своих птенцов. В обилии, целыми стадами водились там кряковые утки, чарки, нырки и всякая другая утиная мелочь. Даже дикие

гуси и те попадались большими стадами. Приволье, изобилие милой старины!.. Куда все это девалось?!..

По берегу Терса рос мелкий лесок, и в этом леске было много высоких муравьиных куч. Хаживая на охоту, я не оставлял мысли уйти в Киево-Печерскую лавру, и на реке ли с удочкой, на озере ли или в леске с ружьем, я сердцем был всегда там с великими Печерскими угодниками и чудотворцами. Особенно близок был моему духу преподобный Феодосий Печерский с его подвигами. И вот задумал я ему подражать: заходил в самую чащу леса, разрывал муравьиные кучи, снимал с себя все белье и так, опоясавшись только по чреслам, становился в самую середину разрытого муравейника. Муравьи моментально тысячами осыпали меня с ног до головы и, как мелким осенним дождем, обдавали меня брызгами своего едкого, жгучего спирта... Что это была за нестерпимая боль! Точно палящим огнем обжигала мое тело муравьиная злоба, а я, едва преодолевая добровольное свое мучение, становился на колени, возводя ум, сердце, очи и руки к небу, и жарко молился Пречистой, чтобы Она удостоила меня побывать в Своей лавре для поклонения святым мощам и чудотворному Ее образу Успения. Молился я и преподобному Феодосию, чтобы он испросил у Господа милости быть мне иноком. Такие подвиги я предпринимал почти всякий раз, как бывал в прибрежном лесочке, и, странно, нестерпимая боль подвига проходила, как только я надевал на себя белье – точно как будто не меня кусали рассерженные насекомые, у которых я неразумно и безжалостно разрушал жилища.

XIII

Но несмотря на мое подвижническое усердие, моя мечта побывать в Киеве грозила так и остаться мечтой. Тогда я решился прибегнуть к хитрости, чтобы, так или иначе, а уже поставить на своем и развязаться с моим тоскливым житием на мельнице. Отправившись раз на охоту с ружьем, я забрался на середину того большого озера, о котором говорил выше. На самой середине озера был остров, поросший густым камышом; туда можно было, хоть и с трудом, добраться по песчаным отмелям, которые мною были изучены в совершенстве. Под шелест камыша я всесторонне обдумал свой рискованный план и решил, во что бы то ни стало, привести его в исполнение. Нужны были терпение и воздержание, а этому меня научили муравьиные кучи. Залег я на своем острове и стал ждать, когда меня вызнут на мельницу, а тогда, сказал я себе, дело видно будет. Так и присидел я до самого солнечного заката.

А между тем дома, на мельнице, меня хватились. Ждали к обеду, меня – нет; ждут к чаю, – я все не возвращаюсь. Стали расспрашивать у всех, – не видали ли где меня? Узнали, что я очень рано поутру ушел с ружьем на охоту. Давно уже мне была пора вернуться, а меня все нет. Родитель мой сильно встревожился и стал просить помольщиков, чтобы они сели верхом на лошадей и объехали бы окрестные места – по реке, в лесу, у большого озера – словом, объехали бы всюду, где можно было рассчитывать меня найти живым или мертвым. Сочувствуя родительской тревоге, помольщики сели на своих лошадей и разъехались в разные стороны, и вскоре вся окрестность в разных направлениях огласилась криками:

– Феденька, Феденька! Где ты? Откликнись нам!

А Феденька, затаив дыхание, с трепетно бьющимся сердчишком, чувствуя в глубине совести, что творит не совсем что-то ладное, притулился на острове и из его камышей ни звука не подавал в ответ на отчаянные вопли помольщиков. Тем временем солнце уже почти закатилось, темнело, и мне на пустынном острове оставаться долее становилось жутко, и я, выбравшись из камыша, встал так, чтобы меня можно было увидеть с берега озера, с которого до меня долетали оклики разосланных за много гонцов. Меня вскоре заметили, и с криком: «Вон он! Вон он – на острове!» – ко мне по воде, верхом на лошади подъехал один из помольщиков, усадил с собой на лошадь, и все радостно вернулись на мельницу.

Как обрадовался мне мой бедный, перепуганный родитель!.. Он бросился ко мне, осыпая меня вопросами, но я молчал, как воды в рот набравши: я решил притвориться помешанным... Еще более перепугался мой родитель и послал за священником, который жил от мельницы сажень в двухстах, близ церкви, за рекой Терсом. Пришел вскоре священник и начал со мной говорить, а я в ответ понес всякую чепуху, и все решили, что я сошел с ума, или объевшись какой-нибудь вредной травы, или еще по какой-либо неведомой причине. Велико было горе моего родителя! Тем не менее надо было на что-нибудь решиться, и по общему совету решено было меня запереть в чулан, где я... преспокойно и преприятно проспал до утреннего чая. К этому времени пришел опять священник, и родитель мой, отперев дверь чулана, позвал меня пить чай... На стене чулана висела сабля, купленная родителем у какого-то прохожего солдата.

На зов родителя я, как настоящий сумасшедший, быстро вскочил с кровати, схватил со стенки саблю и бросился к двери, где стоял родитель, замахнулся на него саблей. Он быстро отскочил прочь... Я вновь и уже изо всей силы размахнулся и ударил саблей по двери, да так рубнул, что отколол половину дверной доски... Вслед за этим я заорал, что есть мочи: «Вот я вам дам!» – и понес такую околесную, что меня схватили и опять заперли в чулан... Никто не мог понять, что это вдруг со мною сделалось.

В это время приехал к нам на мельницу из Камышина двоюродный мой брат, Трифон Моисеевич, служивший дистанционным поверенным по откупу. Он ехал в Балашов для получения нового паспорта. Все ему обрадовались – в надежде, что он поможет определить, какая такая приключилась со мной душевная немощь, и рассказали ему все, что произошло. Он пожелал меня видеть, сам пошел за мной в чулан и, поздоровавшись, позвал меня пить чай. Я вышел из чулана довольно спокойно и сел за чай, молча прихлебывая из блюдечка, а потом опять, ни к селу, ни к городу, понес разную чепуху... Увидев, что мое душевное состояние несколько не изменилось, родитель мой стал просить приехавшего брата свезти меня в Балашов, к матери, и все в один голос нашли, что меня нельзя в таком положении оставлять на мельнице, где я могу или изуродовать себя, или утонуть. Этого мне только и было нужно.

Родитель мой написал к матери письмо, и меня с письмом брат свез в город. Я выдерживал характер и все представлялся помешанным.

В городе меня не решились держать в доме, а сдали на попечение тетке, уже пожилой девице, сестре моей матери, жившей во дворе нашего дома, во флигеле, и помогавшей матери по домашнему хозяйству. Вот в этот-то флигель и заключили меня до времени, и тетка представлена была ходить за мной. Она меня навещала в моем заключении и носила пищу. Я продолжал вести себя, как помешанный.

Уж на что умен был и проницателен дядя мой и наш благодетель Фока Андреевич Скляр, о котором я уже упоминал раньше, и того я ввел в заблуждение: он, как и прочие, поверил моей душевной болезни и посоветовал матери вызвать доктора. Сами Ковалевы, наши хозяева, приняли участие в нашем семейном горе и послали свою лошадь за доктором в село Падов, написав ему от себя письмо. Приехал доктор, осмотрел меня, пощупал пульс, посмотрел язык, оглядел меня пристально, пожал плечами и поставил такой диагноз:

– Ничего особенно я в нем не нахожу. Со временем он придет в нормальное положение и будет здоров. Вы старайтесь ничего ему наперекор не говорить и развлекайте, чем можете, чтобы он был весел. Все пройдет со временем.

Поистине, для моих целей лучшего определения болезни сделать было нельзя!

С отъезда доктора маменька моя несколько успокоилась на мой счет и стала меня навещать во флигеле, а то прежде ходить боялась, да и горе ее было слишком велико. Я стал понемногу с ней разговаривать, иногда даже, как совсем здоровый, и однажды, подметив в ней доброе расположение духа, сказал:

– Маменька! Отпустите меня в Киев для поклонения святым мощам Печерским: я дал обет, что если вскоре выздоровею, то пойду в Киев в благодарность Матери Божией за мое

исцеление. Верите, маменька, что если вы меня отпустите, я вскоре буду совсем здоров, а – нет, то я умру, мамаша!

На это мать ответила со слезами:

– Милый мой Феденька! Не в моей это воле – вот как отец согласится?!

– Да вы только, – сказал я, – от себя его поусерднее попросите: он вашу просьбу и желание, наверное, исполнит. А иначе, скажите ему, что я могу умереть. Ну что такое – отпустить меня недель на шесть не более?! И я вернусь к вам – за молитвы Богоматери и святых чудотворцев Печерских – здоровым.

Маменька пообещалась отпросить меня у отца, и – слава и благодарение Господу! – желание мое и просьба матери были отцом уважены.

Надо ли говорить, что я тут же и выздоровел!

Через несколько дней я уже отправился в путь к Киеву – пешком, с попутчиками-богомольцами из нашего города.

XIV

И вот я – в Воронеже у раки святителя Митрофана, у Иоасафа – в Белгороде, у святого Афанасия Сидящего – в Лубнах, у святого Макария – в Переяславле, у Чудотворной Иконы Божией Матери – в Ахтырке, – и всюду – один: со своими земляками я простился в Воронеже – дальше они не пошли. Наконец, достиг я и цели своих пламенных желаний. Солнце уже было на закате, когда я, мокрый от сильного дождя, застигнутого меня неподалеку от лавры, усталый, дошел до святых ворот великой обители. Вечерня только что отошла, и богомольцы толпами расходились в гостиницы. В святых воротах мне встретился инок, остановился, взглянул на меня и неожиданно меня спросил:

– Откуда ты, мальчик?

– Из Саратовской губернии, из города Балашова, – ответил я.

– Что ж, есть у тебя здесь кто-либо из иноков знакомый?

– Вы, – сказал я, – святой отец, первый мне будете знакомый: я здесь в первый раз и никого не знаю.

– Тогда, – сказал он, – иди, брат, ко мне в келью – у меня и переночуешь. Поужинаем с тобою, а наутрие там, как Бог благословит...

И привел меня в столярную, где у него была и келья. Обласкал он меня, как отец родной, угостил ужином и уложил спать, сказав:

– Отдыхай, брат! А завтра пойдем к ранней обедне.

Можно ли выразить словами или описать, с какою радостью и восторгом вошел я в первый раз в главный соборный храм Успения Богоматери? Понять волновавшие меня чувства может только тот, кто хоть раз в жизни от всего своего сердца, от всего помышления, от всего существа своего возносил пламень своей молитвы к Богу...

Когда я, после поздней Божественной Литургии, подошел в числе прочих богомольцев к святой иконе Успения Богоматери, чтобы приложиться, я ощутил от нее такое благоухание, какого ни прежде, ни после уже более не обонял, но это не было благоухание розового масла, которым обычно умащают святые иконы, это было что-то такое чудное, с чем никакие запахи самых благовонных цветов сравниться не могут, и душа моя исполнилась восторга неземного.

Прожил я в лавре в гостинице более двух недель, как одно блаженное мгновение.

Каждый день ходил в Пещеры к ранней обедне, и меня стали знать Пещерные монахи. Один из них, расспросив меня, чей я и откуда, поручил мне с ним вместе ходить со свечкой в руках – передовым с богомольцами, читать для них вслух надписи на гробницах угодников. И я ходил, весь объятый трепетным восторгом, возглашал громким голосом святые имена тех, которых весь мир со мною вместе недостоин, клал земной поклон перед каждой гробницей,

прикладывался к святым мощам со словами «святой преподобный (имя рек), моли Бога о нас», то же внушая делать и остальным следовавшим за мною богомольцам. Это добровольное и неизъяснимо для меня радостное послушание я нес почти каждодневно... О, святое, благословенное и на всю мою жизнь незабвенное время!..

Пришла, наконец, пора собираться мне и в обратный путь: побывал я во всех святых местах Киева – во всех храмах киевских, в Софийском соборе, у святой великомученицы Варвары – всюду возносил я свою пламенную молитву к Господу и Пречистой, и главной моей молитвой была просьба о том, чтобы Они меня приняли в число иночествующей братии, хотя бы на самое тяжелое послушание... Последнюю службу в Киеве я отстоял в Успенском лаврском соборе. Теснота в соборе была великая. Я стоял всю службу на коленях перед чудотворной иконой Богоматери. И жарка же была моя к Ней слезная молитва!..

Вверив себя и всю свою судьбу Преблагословенной, приложившись в последний раз к святой Ее иконе Успения, поклонившись Ей до земли, я пробрался к раке преподобного Феодосия, пал перед нею ниц и опять молился: слезы сами так и текли из глаз моих, как вешняя вода, пригретая весенним солнышком, и все об одном была моя молитва. Восторг моей молитвы дошел, наконец, до того, что я, не чувствуя себя, схватился за волосы, и с силой вырвал большую прядь волос.

Со словами «вот тебе, преподобный, залог моего желания стать иноком» положил эту прядь сверх гробницы, прямо в руки изображения пр. Феодосия, и опять на коленях продолжал молиться и плакать у святой раки.

Вдруг вижу: из угла храма, где стоит рака, идет ко мне, раздвигая народную толпу, престарелый седой инок. Подошел он ко мне, нагнулся почти к самому моему лицу и тихо спросил:

– Это что же ты положил сверх раки-то на изображение преподобного?

– Это мои волосы, – тихо ответил я старцу, – я вложил в руки преподобного, вверяя себя его святым молитвам. Он игумен здешний, и я просил, чтобы он умолил Господа – рано или поздно – быть мне иноком.

– И Бог исполнит твое желание, – тихо сказал, наклоняясь ко мне, старец и пошел обратно в темный угол, из которого вышел.

В тот же день я поклонился Киеву в последний раз и отправился в свой далекий обратный путь, на родину. По дороге заходил в Воронеж к великому святителю, архиепископу Антонию, получил его благословение и удостоился услышать из уст его ободрившее меня слово: «Подожди – рано еще – успеешь!..»

Стало быть, я буду монахом!.. Очень я был этим утешен.

XV

Как рады были родители моему возвращению из далекого странствования, всякий представить себе может. Благополучное мое возвращение внушило им ко мне такое доверие, что родитель мой нашел возможнымверить мне отдельную отрасль своих дел – свечную лавку, из которой он торговал оптом и в розницу восковыми свечами, и я стал, несмотря на свои юные годы, почти самостоятельным торговцем, приказчиком на отчете.

В это время я познакомился и близко сошелся с купеческим сыном Феодором Андреевичем Какирбашевым, торговавшим от меня по соседству – через лавку – юхтовым⁵ и железным товаром. Сблизила нас с ним общая любовь к монашеству. Впоследствии он был наместником в Площанской пустыни (Орловской губ.), где и окончил свою жизнь, приняв перед смертью схиму. К нашей дружбе присоединился еще и другой сосед, тоже купеческий сын, торговавший галантереею, бакалейным и колониальным товаром. Этого путь впоследствии ничего не имел

⁵ Юхтовый, юфтяной (от юхть, юфть) – кожаный (из кожи, выделанный из чистой кожи).

общего с нашими юношескими стремлениями и надеждами. Но в то время мы все трое были, как одна душа, и стремились к одной цели, и целью этой был монастырь и подвиги иноческой жизни. Только воля родителей стояла перед нами, как стена, непреодолимой преградой к осуществлению наших пылких влечений.

Жили мы тогда так: день занимались каждый своей торговлей, а наступала ночь – мы собирались вместе в теплушку к галантерейщику и там по целым почти ночам молились, читая акафисты. Псалтирь, каноны, а когда изнемогали от трудов бденных, то, прочитав молитвы на сон грядущий, помянник и главы три из Евангелия и Апостола, ложились спать, укрепляя себя взаимным примером и добрыми советами. Ночным караульщикам наших лавок было вменено в обязанность будить нас в три часа утра, и в этот ранний час мы опять становились на молитву. Кроме того, мы каждый день стали ходить и в будни к утрени и к обедне, прислуживали в алтаре, носили подсвечник, подавали кадило, читали часы. Нам из всего города принадлежал первый почин подавать просфоры на проскомидию о здравии и упокоении, чего раньше в Балашове не было в обычае. На нас глядя, стали подавать и другие, так что вскоре к проскомидии стало собираться частных просфор до пятидесяти и более. Богатое наше именитое купечество, усердное к Божиим храмам, так полюбило этот добрый христианский обычай, и через то приношение просфор до того умножилось, что печение просфор стало прибыльным занятием, которым занялись несколько девиц, и оно стало источником их пропитания. Священники нас очень любили за наше усердие и звали «монашатами», а сверстники подсмеивались и то же прозвание обращали в насмешку. Особенно недоброжелательно к моим стремлениям и моему поведению относился старший мой брат, Феодор, служивший при откупных делах конторщиком и кассиром.

Начитался он Пушкина и других светских писателей, и колом в горле стояло у него монашество... Подавали мы и милостыню, и заключенных в темницах посещали – словом, всей душой стремились осуществить в своей юной жизни заветы Христова учения.

А мысль о монашестве все росла и зрела в моем сердце. Нетерпеливый мой характер едва мирился с препятствиями...

День и ночь я думал свою неотступную думу и, наконец, решился на тайный побег. Остановка была за паспортом, но план у меня уже созрел, оставалось только привести его в исполнение.

XVI

Как старожил и домовладелец, отец мой был хорошо знаком почти что со всеми именитыми гражданами нашего города: секретарь Градской думы, или, по тогдашнему, магистрата, Яков Иванович был моему отцу приятелем, и вот из этих-то добрых отношений я и замыслил извлечь выгоду для выполнения плана моего побега. Задуман он был хитро, и я до сих пор удивляюсь той ловкости и смелости, с какой устроил свое бегство.

Выбрал я денек, когда отца дома не было, и пошел в думу, и, хотя это был Царский, следовательно, неприсутственный день, я знал, что Яков Иванович, как добрый пример службиста, будет на своем посту, несмотря на праздник. Мало таких осталось теперь ретивых чиновников, да какие и остались, то терпят их на службе больше из милости... Яков Иванович действительно был в думе и сидел на обычном своем месте, разбирая вновь поступившую почту. Я смело подошел к нему и попросил его написать и выдать мне паспорт.

– Что, али куда собираешься ехать? – поглядывая на меня поверх очков, спросил Яков Иванович...

– Да, нужно спешно ехать с восковыми свечами на ярмарку в село Карапшовку Аткарского уезда.

– Э, Феденька, не вовремя ты пришел-то сегодня: ведь нынче табельный Царский день, а присутствия-то в эти дни не бывает... Впрочем, погоди, спрошу у писца, не отперт ли сундук, где хранятся бланки.

Сундук, на мое счастье, оказался отпертым.

– Ну, так возьми ж сам в сундуке один бланк, напиши его, занумеруй и приложи печать. А там снеси его к подпису к твоему дяде – он гласный, а – нет, к градскому голове, Филиппу Александровичу – кто-нибудь из них тебе и подпишет.

Все это, за исключением подписи гласного или градского головы, я проделал, занумеровал свой паспорт; секретарь его подписал и печать приложил. Я поблагодарил доверчивого Якова Ивановича и отправился домой. Дело мое, стало быть, остановилось за главной подписью. Что теперь делать? – думал я, – дяде сказать про паспорт нельзя – он родителю скажет, или брату, или матери; спросит, куда и зачем я еду, и тогда весь мой план будет разрушен... Пстой! – вспомнил я, – дома, в столе, есть старый папашин паспорт. Пришел домой, полез в стол, нашел паспорт, приложил его к оконному стеклу вместе с моим бланком и сперва карандашом, а затем чернилами, свел подпись городского головы, да так искусно, что сам Филипп Александрович прозакладывал бы свою голову, что это им подписано, и паспорт мой, таким образом, оказался в полном порядке.

Вечером, когда все улеглись, я из своего сундука достал две смены белья, несколько серебряных рублей и два десятирублевых золотых и в ту же ночь тайно бежал из города, никому не сказавшись и не простившись ни с кем из родных. Только мой друг и брат духовный, Феодор Андреевич Какирбашев, знал о моем побеге и даже провожал меня за город. Он уже бывал и сам раз в таких бегах и некоторое время прожил послушником в Плошанской пустыни, пока его силой не вытребовали родители. На его сочувствие и скромность я мог вполне рассчитывать. С его кожаной сумочкой, с которой когда-то и он бегал, убежал и я.

Куда я шел, я и сам не знал... На другой день своего бегства я нагнал по дороге целое семейство паломников, вышедших раньше меня из нашего города. Шли они в Воронеж на поклонение святым мощам святителя Митрофана; с ними и я дошел до Воронежа. А дальше куда?... Тут я вспомнил, что некогда у моего родителя в услужении был один молодой человек родом из обедневших дворян, по фамилии Костенков. Про него я много слышал от моей покойной бабушки, которая рассказывала, что это был молодой человек необыкновенно расторопный и услужливый и, что называется, молодец на все руки; но одним он моей бабушке не нравился, и крепко не нравился: сквернослов он был ужасный, особенно когда бранил рабочих, но, что всего более было бабушке не по сердцу – это то, что от него проходу не было женскому полу, и матери горько обижались за своих дочерей. Сколько раз бранила его моя бабушка, сколько усовещивала, а он все твердил одно:

– Не бранись, бабушка! Вот уйду в монахи, тогда и за тебя буду Богу молиться.

– Э, пес, пес! Уж тебе ли быть монахом! – ворчала на него бабушка, – такому-то озорнику, шалаборнику, девушнику!

– Ай, бабушка, бабушка! – со смехом отзывался на бабушкино ворчание «озорник». – Не такие еще, да и то попадали в рай, а в монастырь-то попасть легче... Тогда, бабушка, я за тебя буду молиться, а пока ты за меня молись, чтобы Бог помог мне исправиться.

Только долго не исправлялся «озорник», и бабушка все ворчала и гневалась, хотя, я уверен, втайне за него молилась... И вот настал день, пришел «озорник» к моей бабушке и, весело улыбаясь, объявил ей:

– Вот что, бабушка! Пришел я тебя благодарить за все твои выговоры и благие пожелания. Благослови меня теперь, вместо матери, идти в монастырь – час мой настал, и я желаю порешить с миром. Не забуду я никогда твоей брани и добрых советов и буду, пока жив, за тебя молиться, а ты молись за меня, окаянного грешника!

Надо ли говорить, как таким речам обрадовалась бабушка? Она благословила «озорника», обняла своей старческой рукой, как мать родная...

– А деньги-то у тебя, «озорника», на дорогу есть? – спросила бабушка.

– Ни копейки, бабушка, нет!

Она пошла его провожать за город и, сняв с себя крест, благословила его еще раз, надела свой крест ему на грудь и дала ему на дорогу пятьдесят копеек старыми пятаками. Поклонился «озорник» бабушке до земли уже не с улыбкой, а со слезами, и направил свой путь к Троице-Сергиевой лавре... Потом дошли до бабушки слухи, что Костенков поступил послушником к преподобному Сергию, обратил своей даровитостью и ревностным послушанием на себя внимание лаврского начальства, лет через восемь после своего поступления в обитель был посвящен во иеромонахи и неоднократно сопровождал митрополиту Филарету в его поездках в Петербург... Потом, как я слышал, он был строителем Давыдовской пустыни. Имя его в монашестве было Герасим.

XVII

Вот об этом-то Герасиме я вспомнил и решил из Воронежа идти к нему в Троице-Сергиеву лавру, а там, подумал я, видно будет, как Господь устроит мое желание...

Отправился я из Воронежа, конечно, пешком на Задонск. Тогда еще не были открыты мощи святителя Тихона. Из Задонска, помолясь Богу и отслужив панихиду в пещерке, я пошел на Москву и оттуда, уже не помню на какой день, во время вечерни пришел в Троице-Сергиеву лавру. Войдя в ограду обители, подошел к книжной лавочке и спросил монаха, как мне найти иеромонаха Герасима.

– Подождите немного здесь, – ответил мне монах, – отец Герасим – служащий. Вот отойдет вечерня, он пойдет тут мимо нас в свою келью – тогда вы и подойдите к нему.

И точно: не прошло и получаса, стал народ выходить из храма, вскоре вышел и отец Герасим: роста великого, с прекрасными, длинными и волнистыми волосами, с небольшой бородой и необыкновенно величественной, прекрасной наружностью.

На него мне указал лавочный монах и сказал:

– Вот он – иди к нему под благословение!

Я подошел и, поклонившись до земли, принял его благословение.

– Ты откуда, мальчик? – спросил меня отец Герасим.

– Из города Балашова, – отвечал я, – внук известной вам бабушки Василисы Семеновны. Она вам кланяется и просит ваших святых молитв.

Бабушка моя еще тогда была жива... Радостной улыбкой осветилось лицо отца Герасима, и с любовью он переспросил:

– Так ты ее внук? Сын Афанасия Родионовича?... Давно ль ты здесь?... Идем же со мной в мою келью!

С какой теплой радостью обнял меня и вновь благословил отец Герасим, когда мы вошли с ним в его келью. На столе уже был приготовлен чай, и за чаем он прямо засыпал меня вопросами: о бабушке, о родителях, о всем нашем житье-бытье... Любовь и добрая память о прошлом чувствовались в этих расспросах – я едва успевал отвечать на них отцу Герасиму...

– С кем же ты сюда приехал? – спросил батюшка.

Пришлось тут рассказать ему все о моем тайном побеге из родительского дома и о моем стремлении поступить в монастырь.

– В какой же ты монастырь желал бы поступить? – спросил меня отец Герасим.

– Да вот, – ответил ему я, – хотя бы к вам, в келейники.

– И с радостью я бы тебя оставил у себя, – сказал мне он, – но, видишь, друг, – выйдет твоему паспорту срок, тебе необходимо будет вернуться домой к родителям, а за год, что ты

пробудешь у меня в многолюдной лавре, ты ничему не будешь в состоянии не только научиться, но даже увидеть как следует иноческую жизнь. Мой тебе совет: поживи здесь недельку-другую и отправляйся в Оптину пустынь, в скит, к отцу Макарию – поживешь в Оптиной год и увидишь истинных монахов-подвижников; а в твои лета здесь оставаться тебе будет не на пользу.

– А далеко ли эта Пустынь?

– Да верст двести с небольшим: от Калуги до Козельска и Оптиной верст около семидесяти... Вот там есть истинные подвижники монашеской жизни и старчество, а здесь, Фединька, бойкое место – слишком людно, в твои лета, без опыта монашеской жизни, говорю тебе, любя и из благодарности к твоей бабушке и родителям, здесь жить тебе будет не в пользу. В Оптиной все узнаешь, все поймешь: великий старец иеромонах Макарий и великие там подвижники.

Два дня прожил я у отца Герасима в Троице-Сергиевой лавре и, нежно, с любовью простившись с ним и получив его благословение, отправился обратно в Москву, а из Москвы – на Калугу и в Оптину.

XVIII

Был жаркий, ясный летний день, когда я, отмахав семьдесят верст от Калуги до Козельска, подходил к Оптиной. Солнце уже склонялось к закату, жара спадала... Я сильно устал – и то сказать: семьдесят верст пройти за один день – не шутка, впору и большому пешеходу постарше; не дойдя до перевоза через реку Жиздру⁶, быстро несущую свои воды под самой Оптиной, я свернул около небольшого озера налево, в лесок. Мне захотелось есть. Я снял с плеч свой кожаный мешок, вынул оттуда хлеб, яички, соль... и в эту минуту вдруг вспомнил о матери, о родительском доме, о скорби, какую я причинил своим побегом матери, представил себе ее горе, безутешные слезы... и стало мне до боли жалко мать свою родную. Пал я на колени и горько-горько заплакал.

Жарко я молился тут Богу и Пречистой, моля Их избавить мою родимую от ее сердечной муки, внушить ей и всем близким надежду на мое благополучное возвращение... После молитвы я немножко успокоился и сел закусывать, а закусивши, опять заскорбел: куда я пришел? – Нет у меня здесь никого – не только близких, но даже и знакомых... Говорил мне, правда, отец Герасим, что в скиту есть два инока из Саратова – Никита и сын его Родион, но ведь они, с горечью думалось мне, люди мне совсем незнакомые... Что-то ждет меня в этом чужом для меня месте?... Между тем солнце уже закатывалось: надо было решаться, и я со скорбью в сердце пошел к парому. Паром стоял под другим берегом на Оптинской стороне. У парома суетился перевозчик – старичок лет шестидесяти...

– Дедушка! – стал кричать я ему, – перевези меня на тот бок!

И он мне ответил протяжно, по-стариковски:

– Сей-час, род-но-ой! – и подтянул паром к моему берегу. Тихонько передвигал он старческими своими руками канат, и когда мы были уже на середине реки, вдруг зазвонили в Оптиной во все колокола. Шла всенощная, это был второй звон. Мой старичок-перевозчик осенил себя крестным знамением и, поглядев на меня пристально, сказал:

– Вот еще какого перевозжу: в первый раз и со звоном!.. Да ты, мальчик, откуда?...

– Из Саратовской губернии!

– Из Саратовской? Эва, откуда! Издалека ж ты пришел. Что ж, есть у тебя тут родные, что ль?

– Нету, дедушка, нет никого.

– Да к кому ж ты идешь?

– Да старец тут у вас есть какой-то, отец Макарий!

⁶ Река, протекающая под Оптиной пустыней.

– Есть, брат, есть – он в скиту живет – в скит ступай, там его и найдешь.

Переехал я через Жиздру и прямо пошел в церковь, где шла служба. Это был храм, как я потом узнал, во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. В церковь нельзя было пробраться – столько набралось народу, и я встал у двери направо... Ноги мои от усталости и от дорожной пыли, что набилась в обувь, горели, как в огне. Простоял я с полчаса, больше не мог уж и терпеть, и, выйдя из храма, сел на ступеньки паперти, разулся и стал из портянок выколачивать пыль... Ко мне подошел престарелый инок с седой бородой и спросил:

– Ты это, брат, откуда?

Я ответил. Он не удовлетворился моим ответом и продолжал:

– Эва, откуда! Далеко!.. А ныне-то откуда пришел?

– Из Калуги.

– Что ж, родственники у тебя, что ль, здесь есть?...

– Нет, батюшка, ровно никого – ни родственников, ни знакомых...

И с этими словами я заплакал... Старичок-монах с любовью и необыкновенно теплым участием опять обратился ко мне с вопросом:

– Что, аль к нам в обитель послужить пришел?

– Да, батюшка, – ответил я, – желаю быть монахом... Где, скажите мне, найти тут старца отца Макария – я про него слышал в Сергиевой лавре?

– О, любезный мой! Так иди ж к нему скорее, а то кабы в скиту не заперли ворота.

И добрый старец проводил меня до самого скита и, прощаясь со мной у калитки, ласково сказал мне:

– Ну, теперь иди с Богом! Мне ведь все странники родные: я сам, брат, по-твоему, много прошел... Ну, ступай, иди с Богом. Мир тебе!

XIX

В те времена, когда со мной совершились эти события моей жизни, скитский лес был куда гуще и величественнее, чем теперь, и в вечном полусумраке его святой тайны Божьего девственного создания, догорающий день быстро сменялся мраком ночи, и ночная тень ложилась плотнее и гуще, чем на просторе обширного Оптинского монастырского двора. Дивно красив был в это время скитский лес, когда в благоговейном трепете подходил я со своим путеводителем к святым воротам, скрывавшим за собой, казалось мне, истинных небожителей, временно и только для назидания людям сошедших с горнего неба на грешную землю... Вспомнил я по дороге, что отец Герасим, прощаясь со мной в Сергиевой лавре, сказал:

– А ты постарайся найти, как придешь в Оптину, в скиту двух рясофорных монахов, отца с сыном – они ваши, саратовские. Зовут отца Никитой, а сына Родионом: они, наверное, тебе будут ближе других.

И вот, идя дорожкой по лесу в скит, я и думал: ах, если бы мне найти своих земляков – все бы было лучше...

Когда ушел мой старец-путеводитель, еще не входя в святые ворота, я бросился на колени перед изображениями святых отцов на стенах святого входа и слезно им помолился, чтобы они меня приняли в скитскую братию, и затем трепетно переступил порог скита, осенив себя крестным знаменем... Меня сразу обдал густой, чудный запах резеды и всей благовонной роскоши скитских цветов на заре догоревшего знойного летнего дня... Прямо передо мною, пересекая мне дорогу, смотрю, идут два инок... В скитском храме зазвонили во все колокола...

Я поклонился инокам в землю...

– Откуда, брат?

Я назвал свою родину. Иноки переглянулись между собой...

– Не знаете ли, – спросил я, – где мне здесь найти двух монахов, отца с сыном из Саратовской губернии, по фамилии, кажется, Пономаревых?

– А что ж, они родственники тебе, что ли?

– Нет, – говорю, – не родственники, а как у меня здесь никого нет, то я и ищу хоть земляков.

– Ну, и слава Богу говори: твои земляки с тобой-то и разговаривают – я отец, а это – мой сын...

При этом они мне дали братское целование. Это были Никита и Родион Пономаревы, в монашестве Нифонт и Илларион. Сильно обрадовался я этой встрече, в которой не мог, конечно, не усмотреть промыслительного о мне, грешном, Божьего смотрения. Скит мне сразу сделался родным.

– А где мне увидеть старца Макария? – спросил я земляков.

– Пойдем в церковь, – предложил отец Илларион, – он там, и я тебя подведу к нему под благословение.

Батюшку Макария мы действительно застали на молитве в церкви. Шло бдение.

Доложили ему обо мне:

– Какой-то странник, батюшка, вас спрашивает. Желает вас видеть и рассказывает, что он наш с отцом земляк, – доложил старцу отец Илларион.

Надо сказать, что Пономаревым я при встрече не успел ничего другого объяснить, кроме того, что я ихний земляк: ни имени моего, ни фамилии они не знали, да и во всей Оптиной меня никто знать не мог.

– Где он? – спросил старец.

– Стоит у церкви.

– Приведи его ко мне.

...Отец Илларион ввел меня в церковь и подвел к старцу. С замирающим от волнения сердцем я упал ему в ноги, а когда встал, старец, благословляя меня, сказал:

– Э, да это, знать, Федор!.. Дивное прозрение...

– Откуда ты сегодня пришел?

– Прямо из Калуги, – ответил я, вне себя от изумленной радости, представ перед дивным старцем.

– Так води ж его скорей в трапезу, – сказал батюшка отцу Иллариону, – да скажи повару, чтобы он хорошенько, чем Бог послал, его накормил... Да, ты уж после ужина-то не ходи ко бдению, – обратился ко мне старец, – ложись спать, а то ты устал, голодный!

Правду сказать, и голоден я был, да и было мне с чего устать, пройдя за день более шестидесяти верст.

В трапезе меня накормили досыта. Смотрю, отец Илларион тащит мне подушку...

– Это мне к чему ж? Я еще хочу пойти ко бдению, – сказал я отцу Иллариону.

– Старец не благословил, а велел спать ложиться, – возразил отец Илларион.

Пришлось умерить свое усердие. Ложась спать, я попросил отца Иллариона побудить меня к обедне и... заснул сном крепчайшим. Это была первая моя ночь в Оптином скиту. Ни снов, ни видений: как лег, так и заснул беспробудно до следующего утра.

XX

Высоко стояло солнышко на небе, когда поутру тот же инок пришел в трапезную и разбудил меня. Был уже восьмой час утра.

– Ну, земляк, – сказал он мне, – батюшка отец Макарий прислал за тобой, чтобы шел к нему в келью чай пить.

– А как же обедня-то?

– Обедня? Обедня-то уж отошла, и батюшка за тобой послал, придя от обедни. Я у батюшки келейником, и будить тебя к обедне он меня не благословил. Не скорби о том, что проспал обедню – это так старцу было угодно, и послушание паче поста и молитвы. Вот завтра, живы будем и Господу будет угодно, разбудят тебя в два часа, тогда вставай, только не ленись!

При этих словах мы подошли к келье старца, отец Илларион мне сказал:

– А как взойдешь к старцу, будь посмелей и говори ему все откровенно, как отцу, да взойдя помолись и потом поклонись старцу до земли – такое у нас чиноположение.

А я не только готов был кланяться, но и ноги целовать старцу и землю, на которой следы стоп были его...

Когда мы вошли в прихожую старцевой кельи, батюшка отец Макарий сидел в белом холщовом балахончике с четками в руках. Встретил меня старец весьма ласково. Я поклонился земным поклоном, и он, благословив меня, с ангельской улыбкой сказал мне:

– Что, брат Федор, проспал? Выспался?

– Простите, батюшка, проспал.

– Что ж, приятный сон был у тебя?

– Да, я и не просыпался – крепко спал.

– А поблагодарил Господа за приятный и здоровый сон?

– Нет, батюшка!

– Ну, так иди ж вот с келейным отцом Илларионом, и пейте там вместе с отцом Амвросием чай, и тогда в келье положи пятьдесят земных поклонов и поблагодари благого Господа за дарованный сон. Знаешь ли, кому дает Господь приятный сон?

– Не знаю, батюшка.

– Он дает сон любящим Его: «Аще поспиши, сладостно поспиши»...

В это время взойшел второй келейник старца, как я потом узнал, иеродиакон отец Амвросий.

– Возьми-ка вот брата-то, отца Феодора, к себе в келью, и пусть он у вас и живет с отцом Илларионом... Поите его чаем и берите с собой в трапезную до тех пор, пока я не позову его к себе...

В другой раз пили мы чай все вместе: старец, отец Илларион, отец Амвросий и я – у старца в келье. За чаем батюшка подробно и ласково расспрашивал меня о родителях, о родине, о моем желании поступить в монастырь...

– Так ты хочешь быть монахом? – спросил меня старец.

– Хочу, батюшка.

– Молись прилежнее Богу, будешь и монахом.

После чая мы с келейником вышли от старца все вместе в келью отца Амвросия, где отец Илларион сообщил мне о себе, что он с отцом своим родом из Саратова и в нашем городе хорошо знаком с нашим городским головой, Филиппом Александровичем Туркиным.

Много мы тут побеседовали с ним о родине...

Отец Илларион вскоре ушел, и отца Амвросия позвали к старцу. Уходя, отец Амвросий дал мне книжку Исаака Сирского, и я прочел в ней «о молитве», а затем занялся осмотром внешней обстановки кельи. Незатейлива была она: жесткая деревянная кровать; под кроватью большое лукошко с соломой; на кровати узенький полстничек⁷ и подушка с холщовой наволочкой. В переднем углу небольшой образ, и перед ним горела лампада; стул, столик и рукомоийник с тазом – вот и вся келейная мебель, что была в то время у отца Амвросия...

Лишним казалось мне только лукошко с соломой... Когда вернулся в келью отец Амвросий, я спросил:

– На что вам, батюшка, лукошко это?

⁷ Полстничек – лоскут, покрывало.

– Да вот, хочу гусенят выводить, – ответил мне, смеясь, батюшка...

Так и не узнал я, на что ему было лукошко. Шутник был батюшка, и шутник приятный – с ним весело жилось, но в шутках его всегда заключалось что-либо назидательное и полезное для жизни.

XXI

Спустя три дня отец Амвросий сказал мне:

– Брат Феодор, иди к старцу отцу Макарию – он пойдет с тобой к отцу игумену Моисею для определения тебя в обитель.

Когда мы со старцем пришли в игуменские покои, отец Макарий ввел меня из прихожей в зал, а сам пошел в кабинет или спальню к отцу Моисею, и спустя минут двадцать они вышли в залу. Тут в первый раз увидел я великого игумена.

Поклонился ему в ноги и принял благословение, а отец Макарий представил меня:

– Вот, батюшка отец игумен, я привел вам нового подвижника Федора; он желает поступить в монастырь для испытания себя в иноческой жизни: благословите его принять.

– Благословен Господь, посылай к нам рабов Своих, – ответил отец игумен. – А паспорт-то у тебя есть? – обратился он ко мне.

Я подал паспорт.

– А деньги есть у тебя?

У меня сохранились мои два золотых и еще несколько серебряной мелочи. Я отдал деньги, и он при мне положил их в ящик стола, стоящего в зале, и потом звонком вызвал молодого келейника и сказал:

– Беги в рухольную⁸ и спроси у рухольного, чтобы он дал тебе на его рост свитку и пояс ременный.

Стремглав побежал келейник. Пока он бегал в рухольную, отец Моисей кратко объяснил мне монастырское чиноположение Оптиной, обязанности истинного послушника, и объявил мне, что принимает меня в число братства, и благословил мне дать келью в среднем этаже, что у ворот близ булочной лавки, окном на реку Жиздру.

Быстро возвратился из рухольной келейник и принес мне послушническое одеяние. Надо было видеть, из чего состояло это одеяние! Свитка из сурового мухояра, поношенная, с несколькими заплатами, а пояс – простой белый, корявый, с железной петлей для затяжки, точно чересседельник для рабочей лошади...

Отец игумен взял в руки свитку, поглядел, показал мне...

– Ведь вот, брат Федор, какая одежда-то у нас! – сказал он мне как бы с сожалением, – плоховата, вишь, одежда-то!

– Так что ж, батюшка? – отвечал ему я, – ведь преподобный-то Феодосий Печерский, когда бежал от матери, такие же носил, а не шелковые...

– А ты разве знаешь житие преподобного?

– Читал в Патерике.

– Ну, хорошо – так скидай же сюртучок-то свой, да в подражание преподобному и носи эту свитку.

И, сказавши это, отец игумен благословил и меня, и свитку. Оба старца помогали мне снимать мой сюртучок, помогли надеть и свитку; а когда меня нужно было опоясать, отец игумен взял в руки ремень, посмотрел на него и, показывая мне его опять, как бы соболезнуя, промолвил:

⁸ Рухольная – мастерская.

– Вишь, и пояс-то дали какой корявый! – и, оба вместе с отцом Макарием, подпоясав меня, застегнули, как должно. Я поклонился отцу игумену в ноги, и оба старца меня благословили...

– Ну, теперь спасайся о Господе, – сказал мне отец игумен, – молись усерднее, старайся подражать жизни святых отец, будь образцом и для нас, немощных. А что тебе будет нужно, приходи ко мне и говори все небоязненно, а мы, по силе возможности, будем утешать и тебя, как ты утешил нас своим приходом к нам в обитель, из любви к Богу оставив своих родителей и вся яже в мире. Господь да укрепит тебя, иди с миром, а утром я назначу тебе послушание.

Со слезами бросился я к ногам старцев, облобызал их в восторге радости, что меня приняли в обитель, и, поцеловав затем благословляющие их руки, пошел за келейником и водворился в назначенной мне келье.

Так совершилось мое первое вступление в великую Оптину пустынь.

XXII

Келья, мне отведенная, должно быть, давно была необитаема, и воздух был такой спертый, что, отворив в нее дверь, я так и не затворял ее до тех пор, пока меня не перевели в корпус, где была живописная, назначив мне в ней проходить послушание и учиться живописи. Недолго я жил в этой башне, но как ни была неприглядна ее обстановка, я не могу передать того чувства, которое испытывал тогда в своем сердце: я горел огнем ревности и любви к Богу... Боже мой! Что это была за радость! Сердце, как воск, таяло, и для меня легко было всякое послушание. Я тер в живописной краски, топил баню, ходил на общие послушания, поливал овощи, убирал сено, красил с отцом Пименом полы в Казанской церкви, сажал капусту. Потом назначили меня в кухню, где через полгода сделали поваром. Трудное было это послушание, но для меня и его было мало: я старался, когда отдыхали помощники, за них что-нибудь сработать – носил дрова, хлебы из хлебни, разрезал их на ломти, раскладывал рыбу по блюдам, словом, я, что называется, сгорал от жажды деятельности. Когда меня назначили в живописную, я учился рисовать карандашом и тушью; ходил к ранним обедням, где пел на клиросе – голос у меня хороший – дискант; опять тер краски и снова красил с отцом Пименом полы. При этом я исполнял некоторые обязанности келейного у отца Петра Александровича Григорова, хотя и жил в живописной. Обязанности эти не были особенно сложны: я ставил ему самовар и убирал келью, за что он поил меня чаем и дал мне разрешение пользоваться своей библиотекой.

Этот Петр Александрович Григоров был из военных – человек ученый; служил на военной службе в царствование Государя Александра Павловича и в смутные дни воцарения Николая I. Затем ушел в Задонский монастырь, где был келейником у великого затворника Георгия, после смерти которого поступил в скит Оптиной пустыни и был в Оптиной вроде письмоводителя. Замечательный был это человек, и я от него многому понаучился, наслушавшись у него и про многие политические тайны прошлого времени, и про его собственную жизнь, и про великого раба Божия Георгия затворника. Хорошо мне жилось в живописной! Петр Александрович меня любил; батюшка отец Макарий – тоже.

Оба они меня ласкали своими милостями: к отцу Макарию было разрешено ходить, когда было мне можно, и утром, и вечером в келью к келейникам батюшки – отцу Иллариону и отцу Амвросию. Баловали меня даже пряниками, которые я получал и от старца, и от Петра Александровича. Сладко мне жилось в Оптиной – это было в 1845 году, и жутко было подумать, что придется-таки мне дать о себе знать на родину, когда истечет срок паспорту. А как не подать весточку о себе родителям, которые обо мне ровно ничего не знали... Хотя любовь к Богу и побеждает любовь естественную, но не могу и не хочу скрывать, что, живя в обители, я часто вспоминал скорбь своей матери и нередко со слезами падал на колени перед чудотвор-

ным Казанским образом Божией Матери, что в Казанской церкви, и молил Преблагословенную, чтобы Она утешила Своею благодатною силой горе моей дорогой родительницы.

А все-таки мне было жутко открывать свое блаженное пребывание в Оптиной. И мудро ли то было, когда Оптина была не только для меня, убогого разумом, но и для высоких людей уголком рая, точно забытым ненавистью врага рода человеческого или, вернее, огражденным от нее всесильной властью Царицы неба и земли, Приснодевы Богородицы. Благолепие храмов и священнодействий; стройное пение; примерная жизнь в духе благонравной и преуспевающей духовно под богомудрым водительством старца Макария и игумена Моисея братии; дивные службы церковные, окрыляющие дух пренебесной радостью... Могло ли что на земле сравниться с дивной Оптиной!.. А отдельные подвижники Оптиной, эти земные небожители! Старец Макарий; игумен Моисей; иеросхимонах Иоанн, обличитель и гроза раскола; Варлаам, бывший игумен Валаамский, с тяжелым сосновым отрубком на плече: «томлю томящего мя», – ответил он, когда нечаянно был застигнут одним из братии за тайным своим подвигом – безмолвник и созерцатель, делатель умной молитвы... А Петр Александрович Григоров, оставивший вся красная мира, о котором я уже сказывал! И многие другие, явные и тайные подвижники духа, известные или только Одному Господу доведомые, коими изобиловала тогда Оптина! Богом моим свидетельствую, что при игумене Моисее обитель Оптинская цвела такой высокой нравственностью, что каждый мальчик-послушник был, как старец. Я видел там в полном смысле слова земных ангелов и небесных жителей. Что это было за примерное благочиние, послушание, терпение, смиренномудрие, кротость, смирение!

Оптина была школой для российского монашества.

Вспоминая любовь старца Макария, не могу не упомянуть об одном знаменательном помысле, вошедшем мне в сердце, когда я раз пришел к нему в келью пить чай с его келейниками. Самовар еще не ставили. Был жаркий июльский день. Сидя на крыльце кельи, я услышал стук топора за кельей. Я пошел на этот стук и застал келейника, иеродиакона Амвросия, трудящимся до пота за одного больного брата, послушника Василия. Я смотрел на его ревность из любви к больному брату и молился мысленно, чтобы Господь призрел на дело любви и благословил дни его жизни. И в это время я услышал в себе внутренний голос, мне говорящий, ясно произнесший: «Этот отец будет по времени старцем в этой обители вместо отца Макария». Впоследствии помыслу этому суждено было сбыться: иеродиакон Амвросий стал по смерти отца Макария великим Оптиным старцем.

Но ни помыслам, ни благодатным видениям, как бы ни были они знаменательны и вожделенны, старец Макарий не позволял давать легкомысленной веры.

Однажды, во время описываемого мною пребывания в Оптиной, был со мною такой случай. Заболело у меня горло, сделалась сильная опухоль, и я сильно заболел.

Смерти я не боялся, но мне хотелось еще потрудиться в обители, и так как болезнь грозила принять серьезный оборот, то я сильно упал духом. В скорби духа я заснул и вижу во сне, что я лежу больной, и вот – подходит ко мне Спаситель, как Его пишут на иконах явления Марии Магдалине по Воскресении, – нагой, через плечо покрытый покровом, и говорит мне:

– Феодор, ты нездоров?

– Нездоров, Господи!

Спаситель приблизился ко мне и рукою Своею вскрыл мне грудь, так что я увидел свое сердце и всю мою внутренность...

– Да – нездоров, – сказал Он и, сказавши это, стал ко мне боком, и из ребра Его брызнула на меня фонтаном Кровь и вода; как дождь благодатный, оросили они мне все мои внутренности. Затем Он закрыл мне грудь, еще раз оросил ее Своею Кровью и, сказавши:

– Теперь ты будешь здоров, – стал невидим, а я проснулся.

Опухоли в горле – как не бывало, и я встал с постели совершенно здоровым.

Немедля пошел я в скит к старцу отцу Макарию, чтобы рассказать о дивном видении. Старец выслушал меня со вниманием и обычной ему любовью, и несколько помолчавши, сказал:

– Что ты сделался здоров, за это благодари Господа, но сну этому не верь.

– Как же так, батюшка, не верить-то? Вы сами свидетель, что я был сильно болен, а вот – мгновенно – здоров, – возразил я не без горечи и удивления старцу.

– Слушай меня! – призвал отец Макарий, – если бы и точно, за молитвы святых отец, сон твой был благодатный, то и тогда гораздо для тебя полезнее не верить сну. Веря сну, ты не избежешь самомнения, а испытай себя, спроси свою совесть: ну, достоин ли ты, чтобы явился к тебе Спаситель?... Положим, что «милости Его бездна многа и судьбы Его кто исповесть», но, во всяком случае, недоверие сие не будет служить тебе препятствием ко спасению... Положи себе, что ты женат и имеешь жену, которую ты хотел испытать в верности, для чего ты, отъехав как бы в дальнюю сторону, через несколько дней вернулся бы к жене под искусной маской, под которой тебя невозможно было бы узнать.

Положи, что маска эта красивее тебя и так искусно сделана, что ты в ней другой человек, и ни одна женщина не могла бы в ней тобой не заинтересоваться. Под этим обличем ты стал бы прельщать свою жену... Скажи мне, был бы ты обижен, если бы жена твоя в ответ на твои обольщения ответила тебе личным оскорблением, соблюдая свою супружескую верность?... Не стал ли бы ты ее еще больше любить и уважать?... Ну, вот видишь – так и ты поступи: от всей души возблагодари Господа за выздоровление, а сну не доверяй, памятуя свое недостойнство и греховность.

Так вразумил меня старец, прозревая во мне зарождающуюся склонность к самообольщению...

Так в жизни монастырского послушания, тихих радостях монашеской жизни, назидаясь примером и речами богомудрых моих наставников и собратий, провел я благополучно 1846 год в стенах великой Оптиной. На небе был я или на земле, не знаю; но – увы! – земля на этот раз в моей жизни оказалась сильнее неба, и для временного пустынножителя назрела неотложная нужда в паспорте. С великой тугой сердечной написал я из Оптиной родителю письмо о высылке паспорта, но в ответ получил угрозу вытребовать меня через полицейское управление.

Сильнее всех в семье восстал против моего монашества брат Феодор, который и всегда-то был, как человек нового духа, враг монахов, и тут пошел на меня прямо-таки войной и подняв бурю против меня на семейном совете.

Батюшка отец Макарий благословил отца Амвросия написать от своего имени моим родителям письмо, чтобы они не препятствовали моему желанию посвятить себя иноческой жизни. В письме этом родители мои предупреждались старцем, что противлением своим сыну на вступление в монашество они могут навлечь на себя гнев Божий и лишиться благословения в делах своих... Письмо было отправлено, но мне что-то не чаялось получить исполнение своего желания. Так и вышло: вскоре пришел за мной игуменский келейник и позвал к отцу игумену.

Когда я вошел в залу, то за столом увидел городничего города Козельска. Хотя городничий мирно попивал игуменский чай, сердце мое обмерло от тяжелого предчувствия... Отец игумен сообщил мне, что родители требуют высылки моей в город Балашов через полицейское управление, городничий к игуменским словам добавил с усмешкой:

– При этапе конвойном.

Я заплакал...

– За что ж по этапу? – возразил отец Моисей, – выдайте ему проходной билет от Козельска до Балашова.

Городничий согласился:

– Конечно, так, – сказал он, – за что же по этапу – он никакого преступления не сделал.

В конце концов мне было вручено проходное свидетельство, и я должен был отправиться на родину.

Поговетши в последний раз в Оптиной, я с великим плачем простился с братией, со старцем отцом Макарием и с отцом игуменом. Великий старец ласково утешал меня и сказал, что рано или поздно, а я все-таки буду монахом, только бы я не вступал в супружество.

– Не плачь, – говорил мне отец Макарий, – не плачь. Уверю тебя – никогда не отчаивайся в милосердии Божиим; оно безгранично. Силен Бог извести тебя из мира, – и ты со временем будешь иноком. Просите и дастся вам... И мы будем за тебя молиться.

Отец игумен, прощаясь со мной, достал из столика положенные туда при моем вступлении два золотые, которые так все время там и лежали, и я, поклонившись старцам и Оптиной до лица земли, обливаясь горькими слезами, пешком отправился на родину.

Отец Родион провожал меня до Свято-Пафнутиевского колодезя.

Так завершился мой побег из родительского дома... Что-то меня ожидало по возвращении под кров родительский?

XXIII

– Ах ты, вшивый! Сколько ты наделал нам скорби и слез матери!..

Таковыми словами встретил меня родитель, когда я вернулся под кров отчего дома.

В слезах радости свидания после долгой разлуки обнимались мы с отцом, матерью и сестрами. Только в брате моем старшем, Феодоре, радость свидания особенно не была заметна – он больше подсмеивался надо мной и над вынужденным моим возвращением, как бы торжествуя, что не без его усиленного настояния мне не был выслан родителями паспорт. Не злой был он человек, но, прости ему, Господи, сильно зараженный духом времени... Узнавши о моем возвращении, к нам набрался полный дом родных и знакомых: кто просто хотел видеть беглеца и порадоваться вместе с родителями его возвращению, а кто явился меня защищать от предполагаемого гнева родительского. Но в родительском сердце не было гнева – радость встречи после двухлетней скорби заставила их все забыть, и я вновь вступил в семейную жизнь в полном повиновении и покорности воле родительской, занимаясь делами моего отца, который все еще продолжал держать водяную мельницу и вести торговлю церковными свечами. Брат Феодор служил по откупам, сестра Екатерина без меня была выдана замуж. Года полтора жила она в замужестве за прекрасным и умным молодым человеком, настолько образованным, что он был учителем губернаторских детей, но незадолго до моего возвращения он скончался от чахотки.

Это был первый тяжкий удар моим родителям, особенно матери, который они понесли после письма батюшки отца Макария, писанного им отцом Амвросием с увещанием не препятствовать в моем стремлении стать монахом.

Другие скорби были еще впереди... В эту пору в моей жизни произошел случай, о котором я считаю нужным упомянуть в летописи моей жизни.

В доме родителя моего стоял постоялец, служивший поверенным по комиссионным делам винного откупа, коломенский мещанин Ульян Герасимович Ульянов. Как-то раз собрались мы со своей семьей и Ульянов со своей женой все вместе за обеденным столом в кухне. Во время обеда произошел разговор о воплощении Сына Божия. Ульянов, человек хотя и малообразованный и в особенности мало начитанный в Слове Божиим, но вольнодумный, стал издеваться надо мной, над моими задушевными желаниями и, в особенности, над монашеством. По гордости и безумию он, что называется, из кожи вон лез, кощунствуя над верой православной и надо всем, что только было в моем сердце святого. Особенно глумился он над верой в существование диавола и всей его нечистой силы...

– Какие такие бесы, – хохоча говорил он, – и кто их видел? Не любо, не слушай, а лгать не мешай... Экий вздор, какие – бесы! Стыдились бы и говорить о таком вздоре!

– Прочтите Евангелие, – отвечал я ему, – и убедитесь в этой истине: Спаситель не раз в земной Своей жизни исцелял бесноватых, изгонял духов нечистых, как то было с Гадаринским, например, бесноватым, когда Он повелел легиону бесов выйти в стадо свиней...

В ответ на мои речи Ульянов хохотал пуще прежнего и продолжал злобно кошунствовать. Я весь трясся от внутреннего гнева...

– И что такое ваше Евангелие, – не унимался Ульянов, видимо, тешась над моим негодованием, – кто его писал?... Все это – выдумки, вздор, чтобы морочить людей и ездить на их шее попам, архиереям да тунеядцам – монахам...

При этих словах я, едва удерживая себя, чтобы не кинуться на него, стал просить, чтобы он переменял разговор, но его точно муха какая-то укусила, и он со злым смехом продолжал кошунствовать еще страшнее, еще невыносимее...

Тут сидели мои родители и безмолвствовали. Это меня еще более потрясло, и я, не помня себя от охватившего меня внутреннего пламени, схватил со стола нож, поднял его над своей головой, вскочил со своего места и вне себя от гнева повелительно крикнул кошуннику:

– Или ты должен умолкнуть, негодяй, или я тебя навсегда заставлю замолчать!

Меня трясло, как в лихорадке. Бледный, как полотно, я уже готов был кинуться на Ульянова, но тут родители бросились на меня и удержали мою руку, готовую пролить кровь кошунника.

С гневом родители выгнали меня из-за стола... Я подчинился воле родительской, но, уходя из кухни, с великой силой чувства оскорбленного за поруганную святыню крикнул Ульянову:

– За твое неверие меня выгнали из-за стола, но помни, негодяй: ты именуешься христианином и не веришь воплощению Бога-Слова, издеваешься над Евангелием – знай, что это не пройдет тебе даром, и не нынче, так завтра постигнет тебя кара Божия. Едешь ты в уезд и, попомни мои слова, – не вернешься оттуда благополучно. Тогда придется тебе принести раскаяние, да будет поздно: Бог поруган не бывает!

С этими словами я вышел из кухни. Оставшись наедине с собой, я понемногу пришел в себя и поскорбел, что наговорил столько угроз, но слово – не воробей, вылетит – не поймает. Признаюсь, не о том я скорбел, что произнес угрозу, но о том, что слово угрозы может не исполниться, и после этого Ульянов еще более будет глумиться над всем, что было так дорого и свято душе моей. Я наложил на себя пост и день и ночь усердно молил Богу и Преподобной Деве Марии, чтобы не остаться мне посрамленным перед вольнодумцем и чтобы он уверовал в истину Святого Евангелия и исповедал Сына Божия, пришедшего во плоти для спасения грешников, верующих в Него, от них же первый есмь аз...

Что же вышло? На другой или на третий день после описанного случая Ульянов выехал по делам откупа в уезд. Приехавши в село Макарово, он почувствовал озноб и послал к подвальному взять у него бутылку двойного двадцатиградусного спирта. Нагревши его и раздевшись донага, он стал им натирать тело. Дело было вечером. На столе стояла свечка. Ульянов нечаянно слишком близко подвинулся к столу, спирт вспыхнул, и несчастный вольнодумец очутился весь в пламени. На неистовый, отчаянный его крик прибежал его кучер; но отворивши двери комнаты и увидевши своего хозяина нагого и всего в пламени, от испуга упал в дверях в беспамятстве. За кучером вбежала хозяйка квартиры и, поняв в чем дело, схватила с кровати одеяло, накинула на Ульянова и тем потушила пламя. Все тело несчастного было обожжено, почернело, вздулось и покрылось волдырями и гнойными нарывами. Когда его привезли обратно в город и полубесчувственного вынимали из саней, я шел домой из лавки. Увидев меня, Ульянов со стоном воскликнул:

– Ну, Федор Афанасьевич, теперь, брат, верю! Видишь, как Бог меня наказал!..

Он долго страдал, но, Бог помог, выздоровел.

Кучер же его, потрясенный случившимся с хозяином, вскоре умер. Все это так повлияло на Ульянова, что с той поры он стал говеть и причащаться Святых Тайн Плоти и Крови Христовых и сделался истинным православным христианином. Надо ли говорить, как это происшествие отозвалось в моем сердце?

XXIV

Вскоре обстоятельства семейной жизни заставили меня покинуть кров родительского дома: отцовские дела пошатнулись так, что мне вновь пришлось искать службы по откупу. Слово старца Макария не шло мимо. По внешности все оставалось по-прежнему, только маменька становилась все грустнее и задумчивее.

Стояли непроданными оба наши дома; молола водяная мельница, арендованная у казны родителем, но капитал, вложенный в нее, таял не по дням, а по часам: водой ее прорывало по несколько раз в год, вынуждая ее к продолжительному бездействию, а между тем плата за аренду в Палату Государственных Имуществ была очень велика; рабочие стоили дорого, да и содержание семейства обходилось отцу более тысячи рублей в год.

Дома едва окупали свой расход. Родитель крепился и старался скрыть свое критическое положение, так что для меня оно долго оставалось тайной.

Однажды вечером, в отсутствие отца, сидели мы с матерью за чайным столом.

Маменька разливала чай. Вдруг вошла в комнату работница, которая у нас жила несколько лет, и обратилась к матери с такими словами:

– Как же, Агафья Андреевна, – завтра нужно квас варить, а у нас муки-то нету?

Я заметил, что при этих словах матушка изменилась в лице и, когда работница ушла, сказала мне:

– Федюк! Поймай черную кошку и отнеси к тархану⁹ – он за нее даст копеек сорок: на это купи муки пуда три...

Меня эти слова как варом обожгли. Неужели же мы дошли до такой крайности?

Надо продать kota, чтобы купить муки? Ведь у нас еще есть два дома – один каменный, в котором мы жили, а другой деревянный: семь окон в длину и пять в ширину, с полной обстановкой, с чудной надворной постройкой... Однако положение было именно таково, и мне надобно было решиться поступить на должность, чтобы кормить родителей и сохранить хотя бы остатки состояния.

Брат Федор, хоть и служил, но ничего, или почти ничего не подавал в родительский дом – человек он был нового покроя: на себя самого едва хватало жалованья.

Я оставил дом родительской и поступил по откупным делам в Новочеркасске писцом в контору В.Н. Рукавишникова в I Донской округ. Вскоре я был переведен в Усть-Медведицкий округ, в станицу Раздорную и назначен подвальным с жалованьем в двести рублей при готовой квартире, отоплении и освещении. Служба по обстоятельствам того времени была крайне выгодная, и я целиком все жалованье отсылал родителям. Повышения по службе шли за повышениями – меня начальство очень любило – и вскоре я уже был дистанционным с окладом жалованья, кроме наградных, в восемьсот рублей. И это все жалованье я полностью отсылал родителям, что приводило в немалое изумление наших сограждан и сердило моего брата Феодора, которого моя помощь унижала в глазах родителей и знакомых. Мне же делать это было отрадно, да и не трудно, тем более, что в откупных делах наживались тогда все, от мала до велика, кто только имел с ними соприкосновение по откупной службе. Это не было тайное хищение, а открытое пользование безгрешными доходами, которые так и текли сами собой

⁹ Тархан (др. – рус.) – владелец вотчины, пользовавшийся особыми преимуществами.

в карманы служащих, начиная с низших и кончая высшими. Я пользовался доброхотными приношениями от сидельцев, которых защищал от неправильного и алчного суда, но часто, соображаясь с их семейным положением, отдавал им обратно половину приносимой ими благодарности, за что и был всеми ими любим так, что они открывали мне все тайны сложного откупного дела.

Полна соблазна была эта широкая, привольная откупная жизнь, особенно в мои молодые годы в среде вольного женского казачьего населения. Свобода нравов в отсутствии мужей, часто призываемых на службу, граничила с самым откровенным развратом. И где мне, пылкому юноше, да еще свободному в денежных средствах, было устоять и не попасть с головой в тенета всюду расставленного соблазна красоты благородных и любвеобильных дочерей тихого Дона! О, мои монашеские стремления! О, Оптиная моя дорогая! Где тогда были вы?...

Новое горе свалилось на головы моих бедных родителей: едва стали они несколько поправляться в денежных делах благодаря моей поддержке, как внезапно, в цвете лет, умер мой старший брат Феодор, и меня, пленника и раба страстей, вызвала родительская воля обратно на родину.

Дома я застал родителей в скорби великой по случаю смерти брата, и меня ожидало новое искушение. Как я ни увлекался на Дону красавицами-казачками, но в минуты отрезвления от увлечений я продолжал таить в своем сердце желание оставить мир и уйти в монастырь и только, случалось, плакивал над своими падениями. Дома мир, в лице моих родителей, готовил мне непреходимую пропасть, которая должна была, казалось, на веки отделить желания мои от их осуществления. По приезде моем в дом родительский скорбная мать стала меня умолять со слезами, чтобы я женился, что это одно – знать меня женатым и пристроенным – может ее успокоить и утешить в тяжести перенесенной утраты. Твердо помнил я речи старцев, которыми они меня напутствовали из Оптиной, и долго крепился, но тяжкие обстоятельства, безграничная любовь к матери, ее беспрестанные слезы и мольбы взяли верх над моими стремлениями, и я дал слово исполнить материнскую просьбу. Господь видел, что в этом решении моего желания не было, – одна только жалость к слезному горю матери: я готов был и тело, и душу свою отдать в жертву, только бы мне дано было утереть слезы родимой, вызвать на уста ее хотя бы тень радостной улыбки.

Нашли мне и невесту, дочь богатого купца нашего города – с хорошим приданым и средствами, с богатой родней. Пошли переговоры, смотрины... Дело налаживалось как нельзя лучше... Но душа моя была скорбна и исполнена тяжкого уныния. Все меры употреблял я, чтобы утаить мою скорбь от зоркого взора родительницы и казаться веселым. До поры до времени мне это удавалось... но, Боже мой! До чего тяжело было на сердце!..

А дело свадьбы близилось между тем к концу: родителю удалось с хорошей выгодой продать свой каменный дом и выручить за него порядочный капитал, предназначенный им для свадьбы; состоялось, наконец, в нашем доме решительное свидание с дядей невесты и священником, на котором должно было обсудить и решить все условия предстоящей свадьбы касательно приданого, капитала и прочего. Мне нужно было угощать гостей, и, по приказанию матери, я вышел в другую комнату, чтобы вернуться оттуда с подносом и вином в бокалах и рюмках. Когда я уже шел к гостям с угощением, я приостановился на минуту за полуотворенной дверью и как стоял, с подносом в руках, опустился на колени в пламенной молитве от всего существа своего к Богу об избавлении меня от женитьбы и горько, горько заплакал... Это было мгновенье... Я быстро оправился, отер катившиеся слезы, взял опять бокалы с вином и вошел в гостиную. Слезы мои были замечены. Раздались восклицания:

– Э! Он никак плачет? Женихи у людей радуются, а наш плачет? Это что-то неладно...

Тут вмешался священник и вывел меня и мою семью из неловкого положения.

– Не удивляйтесь, – сказал он, – его слезам – женитьба – дело великое, здесь решается вся участь человека: мудрено ли тут человеку с понятием и заплакать?

Священническое слово, властно сказанное, отвлекло внимание гостей от моего растерянного вида, и дело переговоров продолжалось своим обычным порядком.

Оставалось, по-видимому, подчиниться обстоятельствам и сдержать слово, данное матери... Но ин суд человеческий, и ин – Божий!..

В этот же вечер пришел к моему родителю один купец, который несколько лет состоял с ним в коротком знакомстве и по личной дружбе, и по прежним торговым делам моего родителя. Когда-то купец этот вел большие дела не только местные, но и с другими городами, но пожар, излишняя доверчивость к неудачному подбору приказчиков и затем кредиторы лишили его всего достояния, и он жил без дела, едва перебиваясь, что называется, с хлеба на квас.

Но родитель мой, по старой памяти, продолжал еще питать доверие к его коммерческим способностям.

В этот вечер узнав, что у родителя собралась порядочная сумма за проданный дом, купец этот повел речь такого рода:

– Ты знаешь, Афанасий Родионович, мои прежние дела и мою деятельность. Я остался все тот же, только вот пожар выбил меня из колеи. Теперь мне предстоит крупное дело по хлебной части, на котором безошибочный громадный барыш обеспечен. Вы продали дом – деньги у вас есть: доверь мне деньги, и чем сыну твоему служить по откупам, пусть лучше под моим руководством учится коммерции. В самое короткое время капитал тебе вернется утроенным, и сын станет на самостоятельное дело...

Слово за слово – купец сумел нарисовать такую соблазнительную картину скорого и верного обогащения, что родители мои отдали ему в тот же вечер все свои деньги без расписки, только сказали ему:

– Смотри ж, не сделай низости – ты нас тогда убьешь: здесь все, что мы имеем. Расписки мы с тебя не берем, а вот, – указали они, – иконы Спасителя и Царицы Небесной – пусть Они будут между нами и тобой Свидетелями.

Дело все это совершилось с быстротой непомерной, произошло на моих глазах, и я был свидетелем, как купец поклялся пред иконами в верности своему слову и взял у родителей моих деньги. Утром уже он ускакал в Саратов и в течение десяти каких-нибудь дней успел купить и запродать пятнадцать тысяч пудов муки. От этой операции родителям причиталось рублей двести с лишком. В десять дней больше двухсот рублей – было с чего обрадоваться!..

Но непродолжительной была радость моих доверчивых родителей: купец этот, когда еще торговал за свой капитал, имел однажды дело с границей и остался должен по векселю. Этот вексель оказался предъявленным на него в Саратове.

Узнав об этом заблаговременно, купец этот успел распродать весь товар, капитал припрятал, а что осталось от имущества – перевел на имя жены.

Поступок этот нанес жестокий удар моим родителям и окончательно подорвал их благосостояние. Все это совершилось менее чем в две недели, с быстротой молниеносной, и имело ближайшим своим последствием расстройство моей свадьбы. А она ли не казалась делом решенным!

Я написал обо всем старцу Макарию и получил от него ответ: «Благодари Бога!..» Это был пятый удар семье по выходе моем из Оптиной.

Слова старца сбывались с поразительной точностью – скорби чередовались скорбями: овдовела сестра Екатерина; расстроились дела; умер брат Феодор; погиб в неверных руках капитал, остаток бывшего состояния и, наконец, разбилась мечта матери – моя свадьба.

О, неисповедимые пути Божии!

За все Ему – слава и благодарение.

XXV

Пришлось мне опять тянуть свою откупную лямку: без моей поддержки родителям было очень плохо. Теперь служба меня перекинула из области Войска Донского в Уфу, а затем вскоре – в Уральск. Долго жил я в Илецкой защите, был дистанционным в Гурьеве, неподалеку от Каспийского моря, при устье реки Урлеа. Много поездил по Букеевской орде и близко ознакомился с бытом киргизов-кочевников. Служба моя и тут была чрезвычайно удачна – жалование и доходы были большие, и опять я все свое жалование до копейки высылал родителям. Временами, как непотухший огонек, вспыхивала во мне ревность к монашеской жизни, но сыновние обязанности и действительная необходимость жить и работать в миру для обеспечения существования родителей смирляли тайную скорбь моей души, жаждавшей обрести Бога в монастырском уединении, в отрешении от мира, в котором все мирское против Бога.

Во время своих поездок в киргизские степи я пробовал попутно между делом по своей службе заниматься миссионерской деятельностью среди киргизов, старался распространять учение веры о Воплощении Сына Божия, но, видно, не было во мне на то истинного призвания, и проповедь моя не имела желанного успеха. И то сказать: мудро было, служа по откупу, возвещать народам Слово Божие...

Замечательно уживалась в сердце киргизов с их верованиями, чуждыми христианству, вера в святителя Николая. Язычники, простые сердцем, они умудряются с верой в своих богов соединить веру в силу чудес великого Божьего угодника, который в их мнении едва ли не выше их богов и даже Самого Господа Иисуса, тоже им известного – по общению с христианами. Я сам видел, как эти дети ковыльных степей в наших православных храмах ставили святителю восковые свечки и говорили мне:

– О, это бачка¹⁰ сердитый! Ему надо всегда давать, что обещаешь. Пропал у тебя лошадь, пропал кайдал¹¹, – обещал свечку Миколай – живо бачка пригнал кайдал. Ми ему всегда хороший баран давал.

Веруют они и Господу Иисусу, и Пречистой, признавая в них хороших, добрых людей, но с меньшей силой, чем Божьему угоднику. В этом отношении наши доморожденные ученые вольнодумцы не так далеко ушли в своих религиозных воззрениях от полудиких кочевников. И подумаешь, сколько ума и усилий было потрачено ими, чтобы дойти в жизни своего, по Святому Крещению христианского все-таки духа, до киргизских понятий! Стоило того! О, жалкие в своем безумии мудрецы мира!..

– Иисус Христа? – говорил мне один киргиз, когда я спросил его, знает ли он Спасителя. – Иисус Христа? О, как не знает! Мой знает: хороший Человек – много бедным помогает: кого рука болит, рука давал; кого нога болит, нога давал. Все давал. Его Бог любил – Он что Его ни просил, все Ему давал.

– Откуда ж ты Его знаешь? – допытывался я у киргиза.

– Экой твой какой! Ты, бачка, только делай добро, а то и твой будет знает Христа. Наш часто с русским говорит: ну, вот твой говорит; мой говорит, а вот они слушают. Так и узнал... Пропал раз моя кайдал баран. Мой день ездил степь ищайт, другой – нет мой кайдал. Плачет моя. Вот едит мой верхом степь одна и думайт: пропал мой кайдал – моя бога серчал, мина не слышал, – так я зову Христа. Да, боялся мой, ну-ка моя бога узнает. Ну, думал мой, долго думал; остановил лошадка, стал коленки и резко сказал: Иисус Христа! Найди мой кайдал баран, я Тебе ширной мой даст баран на жертва, самый ширной.

¹⁰ Бачка (*диал., уважит.*) – батюшка, отец.

¹¹ Стадо овец.

Пожалуйста, найди – мой просить Твой! И что ж, бачка! Не успел мой встать и сесть на лошадка, – глядит моя, – а мой старый баран вышла из камыша да и кричит: бя, бя! Смотрит моя: другой баран, третий... и весь кайдал из камыш идет... Ну, мой рад; спасибо Тебе, Криста, Ты не так, как наша бога; скоро слышал моя просьба. Ну, вот мой приехал в кибитка, сказала всем, что нашел кайдал; и после все – и мой, и жены мой, и дети мой самый ширный баран дал Криста на жертва... Только бы наш попа не знал, а то мой – беда!

– Ну, так ты бы всегда звал Себе Христа на помощь, – сказал я киргизу.

– Это мой знайт, только нельзя: бога моя осерчайт. Тихонько можно, но и то, чтобы попа наш не знал. Да ведь, бачка, бога у всех одна – вера только разный... – так заключил нашу беседу мой киргиз.

«Бога у всех одна, только вера разная!» – так говорят и доказывают теперь люди века сего, отступники христианства, предатели Православия. Но что простительно непросвещенному язычнику, не будет прощено отступившим от Христовой истины, и услышат они грозные слова: «Се оставляется дом ваш пуст!»... Господи помилуй!..

XXVI

Проповедуя Господа Воплотившегося словом, часто обращаясь сердцем к мысли о монашестве, я тем не менее не мог соблюсти должной чистоты и часто падал, и были падения мои и велики, и часты. В скорби сердечной я писал в минуты раскаяния старцу моему Макарию в Оптину, каялся, казнил себя и вновь неудержимо падал.

И тогда опять писал, недоумевая, что мне делать: сердце ждет иноческой жизни, – старцы мне ее в удел определяли, – а плоть беснуется, и я не могу воздержаться от падений. Уж не лучше ли для меня супружеский союз, чем бесплодное покаяние и все продолжающаяся жизнь греха?

От старца ответом письма были в одном духе: «Это все от твоего нерадения, но повинуйся Промыслу Божию с благодарением, старайся, по силе возможности, исполнять заповеди Божии в степени твоего служения... Уверю тебя, что ты будешь монахом. Но о времени не могу сказать – это в непостижимой судьбе Божией и твоим нерадением...»

Слова «твое нерадение» оскорбляли сердце мое, и я, чтобы уверить старца в неутолимой жажде иночества, взял, разрезал руку и кровью своей написал ему, что ею я подтверждаю свое стремление служить Богу. В ответ от старца я получил следующее письмо:

«Почтенный о Господе Феодор Афанасьевич! От десятого июля посланное тобой письмо мною получено, из коего вижу, что премилосердый Господь сохраняет тебя на житейском волнуемом море и доселе непогруженным в волнах оною, хотя и были, как видно, сильные приращения волн через твои слабости, но милосердие Божие и долготерпение Его, видно, устроят наилучшее для тебя.

Вот даже и предстоящую твою судьбу не допустил прийти к совершению, но уничтожил замыслы мира, хотящего привязать Тебя к себе крепкими узами¹².

Принеси же за это немолчное благодарение премилосердому Господу, столько пекущемуся о твоём спасении. Имей твердое намерение исполнить свой обет и, пока еще плывешь по бурному океану мира, имей страх Божий твоим кормчим, а покаяние – гребцами, кои управят тебя к благоотишному пристанищу. Покаяние, говорю, не тогда только, когда придешь к духовнику на исповедь, но имей всегдашний залог оною в сердце своем, памятуя грехи свои, о которых ты кратко вспомянул, чувствуя, Кого ты оными оскорбил, удобнее возстягнешься¹³ от повторения оных. Ты в недоумении вопрошаешь, почему Господь не пошлет тебе скорого

¹² Мою женитьбу.

¹³ Возстягнешься (здесь) – отстранишься.

избавления от мира? И сам от моего имени отвечаешь: за гордость; а тут себя оправдываешь: „Боже мой! Перед Тобой ли мне гордиться?“ и проч. Я не могу тебе сказать, почему Господь не допускает исполниться твоему желанию. Судеб Господних бездна многа, и нам оные непостижимы; но что в тебе есть гордость, как и все мы ей не чужды, только в разных степенях, доказывают твои падения. Святой Иоанн Лествичник пишет: „Идеже последовало падение, тамо предварила гордость“, хотя мы и думаем, что нет в нас гордости, но плоды доказывают, что есть.

Не можем также сказать о себе, что имеем смирение, потому что дела противные оному творим; а где нет смирения, там явно, что его место заступает гордость, так как, где нет света, там – тьма. Итак, вместо оправдания надобно иметь сознание.

Дерзость твоя – в писании кровью о служении Богу и братии – совсем излишня: довольно иметь благое произволение и пролитие духовной крови при искушениях и борениях со страстями на опыте, ибо воиново мужество и храбрость, также и усердие к Царю, показываются во время явственного сражения с неприятелями. По сему разумеи и о духовном борении. Только тут надобно иметь оружием смирение, которое все силы и сети вражды сокрушает, а не дерзость. Остаюсь желатель твоего здоровья и спасения многогрешный i. М.

Двадцать восьмого июля 1851 года»...

Потом, спустя немного времени, я получил от отца Макария его карточку и при ней совет моей матери, чтобы она оставила все излишние попечения и заботы о делах хозяйственных и ходила бы, по возможности, постоянно в церковь.

Преподав мне этот совет для матери, старец потребовал, чтобы я ей о том написал от его имени.

Волю старца я немедленно исполнил, а сердце тревожно забилося о родимой.

XXVII

Когда родительница получила письмо, в котором я написал о совете отца Макария, то немедленно попросила родителя моего написать мне в Уральск, чтобы я оставил службу и поспешил вернуться домой в Балашов. Сама же матушка вслед за получением моего письма совершенно изменила образ своей жизни: перестала суетиться и хлопотать по домашнему хозяйству и вся обратилась к Богу, земное оставляя и к горнему устремляясь. Храм Божий стал для нее местом, которое сосредоточило на себе все ее помышления, и она начала ходить ко всем службам, не пропуская, в особенности, ни одного дня, чтобы не быть у Божественной Литургии. Матушка была совершенно здорова и, когда я приехал по вызову родительскому в Балашов, я застал ее на вид такой же здоровой, какой ее оставил, отправляясь на службу. Она даже была весела и страшно рада меня видеть. Если бы не письмо отца Макария, которое невольно наводило на размышления, нельзя было и подумать, глядя на родительницу мою, что ангел смерти уже спешит взять ее душу и представить Творцу всяческих.

Двадцать один день я провел в кругу семейных, – и ни разу матушка ни одним словом не обмолвилась, что она готовит себя к переходу в вечную жизнь; только непрерывное, ежедневное хождение в церковь подавало разуметь, что совет старца был для ее сердца предварением приблизившейся для нее вечности.

Дни проходили за днями, и сердце мое, встревоженное было, по моем возвращении домой стало понемногу успокаиваться. Вся семья была собрана в кругу: отец, мать, старшая сестра – вдова Екатерина, я и малолетки – брат Иван и сестренка Поля. Жизнь протекала мирно, по-семейному. И внутри меня и вне, в семейном быту наступило какое-то затишье, ненарушаемое заботами завтрашнего дня. Не было даже речей о том, что предпринять мне, главному кормильцу семьи, источнику ее благосостояния. Слово старца Макария исполнялось свято – житейское попечение было оставлено.

Шел двадцать первый день со дня моего возвращения из Уральска. Матушке вдруг захотелось к обеду дичинки.

– Поди, Феденька, настреляй мне дичинки какой-нибудь, и я к обеду приготовлю жареное, – сказала мне родительница.

Желание ее было исполнено, и из настрелянной дичи матушка сама изготовила обед. С заметным удовольствием покушала и все вспоминала за столом библейскую историю об Исааке и Иакове...

– Вот, – говорила она, обращаясь ко мне, – я – точно Исаак, а ты – Иаков; я ем тобою на охоте изловленное, и ты ждешь моего благословения на первородство.

Матушка говорила как бы в шутку, а дело-то вышло, на самом деле, всерьез: на другой или на третий день после этого обеда родительница моя захворала и тут же пожелала поисповедоваться, особороваться и причаститься; но, так как она, хотя и чувствовала себя больной и слабой, но могла еще через силу держаться на ногах, то и ни за что не позволила, чтобы Святые Дары были принесены к нам на дом.

– Хочу в церкви сама подойти к Господу, – сказала матушка, и мы с ней поехали на дрожках в церковь – к Литургии. Обедню она едва дотянула, но к Святой Чаше приступила с большой твердостью и силой и сама твердым и ясным голосом произносила священные слова исповедания Христа Господа: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос Сын Бога Живаго»... Но когда причастилась, то совсем изнемогла, и я ее в полубоморочном состоянии вывел на паперть. Немного оправившись, она попросила меня отворить входную дверь в церковь и так, на паперти, дослушала окончание Божественной службы. По окончании благодарственных молитв я ее привез домой, и тут она слегла в постель и уже более не вставала.

Прошло несколько дней с того времени, как матушка слегла окончательно, подкошенная своим предсмертным недугом; она слабела не по дням, а по часам и, наконец, велела нам собраться у своей постели, выразив желание благословить всех нас. Когда ей подали икону Божией Матери, она привстала на кровати, но силы не выдержали, и матушка вся в слезах упала на подушки без памяти. С ней сделалось что-то вроде конвульсий, и хотя она вскоре оправилась, но объявила, что благословлять не будет, а поручает нас покровительству Преблагословенной.

– Я прошу Владычицу, чтобы Она не оставила вас, – сказала она и стала горячо молиться. Ей с горячими слезами, неоднократно повторяя: – Тебе вверяю их.

Матерь Божия! Ты им будь покров и заступление!..

Помолившись с пламенной верой, матушка подозвала нас к себе поближе и стала говорить:

– Я умираю. Смотрите, имейте любовь между собою и, если любите меня, оказывайте отцу своему всякое почитание. Никогда не поминайте, если когда-нибудь заметили, что он оскорбил меня каким-либо словом – это дело не ваше.

Помните одно, что он всю свою жизнь провел в трудах и заботе о вашем спокойствии и воспитании. Успокойте его вашей покорностью и любовью, утешьте его старость вашей заботой о нем и детской преданностью. Исполняйте заповеди Божии каждый в своем звании. Будьте милостивы и сострадательны к нищим; прощайте обиды оскорбляющим вас и чтобы гнев ваш угасал прежде заката солнца того дня, в который он возгорелся. Держите веру святую Святой Церкви Православной, храните предания и заветы святых отцов. Не примыкайте к вольнодумцам... А ты! – обратилась матушка ко мне, взяв мою руку и соединив ее с руками сестры Екaterины и четырехлетней Поленьки и указывая на брата Ивана, стоявшего у ее колен, и на отца, который стоял у ног кровати, – а ты, – повторяла она, – не оставь вот этих. Я тебе их вверяю. Будь им вместо отца. А вы слушайте брата, и Бог не оставит вас. Молитесь чаще и усерднее Божией Матери – Ей я вас всех вверяю. А ты, Федя, не оставляй их и прежде времени не уходи

в монастырь: если Богу угодно, еще успеешь. Исполнишь мой завет, и да пребудет над тобой Божие благословение и мое...

Мы внимали словам угасающей матери и горько плакали, но ни одно ее слово не осталось не запечатленным в моем сердце – каждое слово ее точно высекалось на его скрижалях стальным резцом пламенной материнской любви и веры.

Еще несколько дней угасала родимая. Мы проводили целые ночи без сна у дорогого изголовья и не отходили от одра матери почти ни на минуту.

Особенно ухаживала за ней сестра Екатерина. Но как ни бодрствовали мы, не смогли уловить последнего ее вздоха: когда она отошла ко Господу, мы все спали, утомленные бессонными ночами, и пропустили время ее предсмертной агонии.

Нас ранним утром разбудила дальняя – по сватовству – наша родственница, Мария Ильинична П., девица лет сорока, дочь очень богатых родителей.

Необыкновенной душевной чистоты и жизни была эта истинная раба Божия.

Приятная лицом, очень богатая, она волею не пожелала выйти замуж, а девичество свое вместе с тремя другими девицами такого же, как и она, духа посвятила Господу. Она свои деньги и те, что ей давали добрые, благочестивые люди, определила на устройство в городе Балашове женской обители, которой в городе еще не было. Со временем ее желание исполнилось, и теперь в Балашове есть женский монастырь... Так вот эта-то девица и пришла к нам на ранней утренней зорьке, разбудила сестру и сказала:

– Встань-ка, Катенька, и пойдем посмотреть мамашу. Что она?

– Спит, – был ответ полусонной сестры.

– Все равно, пойдем – я ее хочу видеть.

И когда они вошли, то нашли матушку уже скончавшейся.

А ранний неожиданный приход Марьи Ильиничны объяснился так, – она тут же нам это рассказала:

– Я спала крепко, – говорила она нам, – вдруг на заре слышу – кто-то меня кличет по имени. Я не просыпаюсь. Меня тогда кто-то толкнул в бок со словами: – Встаньте, пожалуйста, и идите к нам в дом: я ведь умерла, а они меня не видали.

Идите, утешьте их, чтобы они не плакали... – И когда я тут же проснулась, то увидела вашу мать, уже выходящей из моей спальни. Удивившись этому, я сейчас же встала и пошла к вам в дом и вот нашла все так, как она мне поведала в видении. Теперь именем вашей матери и ее словами, только что мною слышанными, я прошу вас не плакать, а молиться о ней Богу. Ведь мы все рождаемся для того, чтобы умереть, и умираем, чтобы воскреснуть для вечной жизни.

Великую радость влили в нашу скорбь эти речи. О, родная наша! Ты и с того света, по неизреченной милости Божией, озарила мрак нашей земной скорби светом Богооткровенной истины, беспредельной Божественной любви и милосердия! Вечная тебе память, родимая!..

XXVIII

Отдав последний долг сыновней любви почившей родительнице, я прежде всего должен был озаботиться о поступлении вновь на место: вся семья, начиная с родителя, по предсмертной воле матери и по моему сыновнему долгу осталась на моих руках. О монашестве, стало быть, нечего и думать, а надо было, как можно скорее, приниматься за добывание насущного хлеба.

Испросив благословения у родителя, я отправился к управляющему откупными сборами Тамбовской губернии Василию Никитичу Рукавишникову, брату родному известного откупщика А.Н. Рукавишникова. У него я служил еще раньше в земле Войска Донского. Он меня любил, и, когда я, уезжая к родителям, оставлял у него службу, он обещал меня вновь к себе принять, если это мне понадобится. Так и случилось, и меня он назначил дистанционным в

город Усмань Тамбовской губернии. Таким образом, жизнь моих семейных была вновь обеспечена. Но моя жизнь духовная, мои стремления, жажда моя служения Богу?... О, каким тяжким искушениям подвергались они в эти годы! Это была непрестанная, кровавая борьба духа с плотью, и, каюсь, часто, слишком даже часто, дух был одолевает плотью.

Единственной поддержкой мне в это время было непрестанное мое хождение к ранним обедням. Там, в Божием храме, изливалась душа моя, молившаяся Господу, чтобы Он ими же судьбами спас меня от соблазнов мира. Но падения следовали за падениями... Товарищи мои нередко удивлялись мне, когда в самые веселые, по-видимому, минуты наших веселых собраний я брал в руки гитару и, перебирая задумчиво струны, голосом, исполненным внутреннего волнения, дрожащим от скрытых слез, напевал любимый в то время мною романс:

Меня никто не понимает,
И никому меня не жаль.
Судьбе моей никто не внемлет,
И не с кем разделить печаль...

Иногда, под наплывом чувства тяжелой неудовлетворенности, я бросал гитару, убегал в соседнюю комнату и рыдал, как ребенок, неутешными слезами, – оставляя товарищей в полном недоумении... К великому моему горю, эти минуты слезного раскаяния не оберегали меня от страстных увлечений...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.